







12625 МЫСЛЬ

ивановъ разумникъ

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

часть л

MEPEPAROTAHHOE

и З.Д.Т-ВО РЕВОЛЮЦІОННАЯ МЫСЛЬ ивановъ газумникъ

4% SA

MHOF X 62

оть Д.ВАДЦАТЫХЪ Д.О СОРОКОВЫХЪ ГОДОВЪ

> исторія русской общественной мысли

AX Y

ΠΤ.Γ. 1913 5Qi 2916

二种的5

2000



407989

Пушкинъ и Лермонтовъ.

T.

Соціально-политическая борьба, поглощавшая собою всв помыслы декабристовъ, шла въ русской интеллигенціи параллельно съ борьбой противъ духовнаго мъщанства, борьбой, ареной для которой служило литературное поле, а оружіемъ борьбы пришедшій на сміну псевдо-романтизму реализмъ. Многіе изъ декабристовъ пробовали свои силы на этомъ литературномъ полъ, но имъли въ рукахъ только заржавъвшее оружіе псевдо-романтизма, ибо романтизмъ, какъ міропониманіе, это именно то, чъмъ не обладала русская интеллигенція первой четверти XIX-го въка. Всъ декабристы, причастные литературъ, являются лучшимъ подтвержденіемъ этого положенія. Всѣ они тщились быть «романтиками» и участью всёхь ихь быль типичный псевдо-рочантизмъ, участь эта одинаково постигла и Рылбева, и Кюхельбекера. и Бестужева. Но всё эти декабристылитераторы имъють только второстепенное и третьестепенное литературное значеніе; ихъ устаръвшее оружіе только царапнуло собою скрижали исторіи литературы, а вибств съ твиъ и исторіи русской общественной мысли. Оружіе реализма впервые было взято въ руки (послѣ Крылова) Грибоъдовымъ, столь близкимъ декабризму. Духовно близкій до 1825 года къ декабристамъ молодой гигантъ Пушкинъ взялъ ото оружіе въ свои руки. Въ эпоху расцвёта «филоTHE WAR IN MARKET.

софскаго романтизма», реализмъ сталъ духовной и литературной силой, которой была уготована скорая и блестящая побъда.

Подъ реализмомъ, не какъ историко-литературной, не какъ гносеологической, а какъ психологической категоріей, мы понимаемъ нѣчто діаметрально противоположное романтизму. Реализмъ — это общее и въчное свойство человъческаго духа, стремление къ эмпирической действительности, любовь къ земному, добровольное ограничение себя пространствомъ трехъ измъреній; реализмъ — это неутомимая любовь къ «человъческому, слишкомъ человъческому», любовь «предъламъ предъльнаго» и полное отрицаніе стремленій и проникновеній за эти предълы. Это, конечно, не исключаеть наличности въ воззрѣніяхъ реалиста самыхъ возвышенныхъ идеаловъ, но идеалы эти — изъ плоти и крови, они тъсно связаны съ землей, съ эмпирической действительностью. Даже религіозные идеалы реализма совершенно враждебны мистицизму; философскій реализмъ есть раціонализмъ, въ его многоразличныхъ формахъ (мы противополагаемъ здёсь раціонализмъ всему ирраціональному). Ко всему «потустороннему», трансцендентному, запредъльному реализмъ чувствуеть глубокую вражду; какъ Фаусть, онъ можеть сказать:

Du, Geist der Erde, bist mir näher,

и подобно Фаусту реализмъ можетъ повторить съ гордымъ сознаніемъ своей правоты:

Aus dieser Erde quillen meine Freuden, Und diese Sonne scheinet meinen Leiden...

А потому всякое стремленіе «къ новому солнцу и къ мірамъ инымъ» реализму совершенно чуждо: его ненависть и любовь живутъ на этой землѣ, подъ этимъ солнцемъ, въ мірѣ трехъ измѣреній.

Реализмъ и романтизмъ — двъ въчныхъ, основныхъ категоріп человъческаго духа, ръзко враждебныя другъ другу, Конечно, такое подраздъление (какъ п всякое) по существу своему схематично, но за этой схемой лежить дъйствительность: хотя въ одномъ и томъ же человъкъ могутъ совмъщаться, чаще всего полубезсознательно, элементы и реализма, и романтизма, однако преобладающій элементь ярче всего определяеть собою индивидуальность. Бывають трагическіе случан, когда оба эти элемента находятся въ человъкъ какъ бы въ состояніи подвижного равновьсія, и мы тогда присутствуемъ при той мучительной борьбъ раздвоенія, которую мы будемъ наблюдать въ Лермонтовъ п въ лишнихъ людяхъ. Вывають случан, когда человъкъ насильственно хочеть привить своей душт несродный ей типъ міросознанія: такъ русскіе исевдо-романтики, типпчные реалисты въ глубинъ души, тщетно силились возжечь въ себъ стремление за предълы предъльнаго; такъ нъкоторые типичные романтики гибли и задыхались въ несвойственномъ имъ реализмъ (наиболъе яркіе примъры — Успенскій и Гаршинъ). Какъ бы то ни было, но раздъление людей по психологическимъ типамъ на романтиковъ и реалистовъ является однимъ изъ основныхъ и особенно интересныхъ для насъ въ данную минуту, ибо именно Пушкинъ (о предшественникахъ его мы говорили выше) первый закръпилъ въ русской литературъ и русской жизни тотъ реализмъ, который затёмъ полновластно царилъ въ ней почти три четверти въка. Мы, конечно, говоримъ здъсь о реализив не только какъ о литературномъ теченіи, но и какъ объ опредъленномъ исихологическомъ типъ.

Чёмь объясняется эта полоса реализма въ русской жизни и русской литературь? Во всякомь случав не одньми общественными, соціологическими и культурно-

историческими причинами; туть есть налицо еще тоть праціональный остагокъ, который присущъ всему индивидуальному. Стремленіе «за предёлы предъльнаго» могло быть въ то времи среди русской интеллигенцій только случайнымь, мимолетнымь, такъ какъ стремление это только тогда имтетъ крылия, когда «предълы» эти дъйствительно твердо и до конца пройдены; молодая же русская интеллигецція того временя еще только робко подступала ко всему «предъльному», а потому и не могла не стать реалистической. Всякая попытка испречняго гомантизма должна была или внасть въ псевдо-рочантизмъ-чо мы и видъли ясябе всего на Жуковскомъ, или закончиться неминуемымъ быстрымъ крахомъ-что мы и видимъ на примъръ россійскихъ шеллингіанцевъ, людей 30-хъ годовъ.

Итакъ, совершенно независимо отъ Пушкина реализмъ неизбъжно долженъ былъ прійти въ русскую жизнь и литературу; заслуга Пушкина въ томъ, что онъ впервые съ громадной силой творческаго генія проявиль и закръпиль въ литературъ это теченіе. Пушкинь является въ русской жизни и литературны однимъ изъ величайшихъ представителей реализма въ томъ его значенін, выяснить которое мы нытались выше; онъ является типичнымъ представителемъ реанистическаго міровосиріятін, реалистическаго типа сознанія. Пушкинъ всегда тяготъль къ реализму по самому свойству своей натуры; его всегда тяпуло п влекло къ земному міру, къ пространству трехъ измъреній, къ эминрической дійствительности, къ реальной личности, къ живому человъку, какъ это уже многими было отмъчено. Вотъ почему онъ такъ скоро почувствоваль, что романтизмь -- не его область, что онъ не годится «въ герои романтическаго стихотворенія». Будучи еще псевдо-романтикомъ въ періодъ своего байронизма, онъ явно высказаль свое отвращение къ сути романтизма, напримъръ, къ романтизму религіозному, и по примъру многихъ учениковъ Вольтера-«браль уроки чистаго аесизма».

Еще въ сентиментализмъ на первый планъ были поставлены непосредственныя переживанія живого, одътаго въ плоть и кости человъка; но тамъ «реальная личность» отнюдь не была фреалистическимъ типомъ», да къ тому же и эти непосредственныя переживанія брались подъ вполнъ условнымь угломъ зрвнія. Реализмъ ввиль въ литературу и въ жизнь интересы резльной личности, и притомъ очевидно исключительно лично ти эмпирической, «Человъкъ» есть понятіе соціологическое, абстрагируя когорое мы можемъ говорить о «соціологической личности»; «личность» есть иснятіе этическое, позводяющее говорить объ «этаческой личности»; эмпирическая личность есть прежде всего «человъческая личность», т. е. понатіе и соціологическое и этическое. Эта эмпирическая личность, взятая съ точки зрѣнія индивидуальныхъ переживаній, и составляетъ главное со-

держаніе реализма.

Такимъ образомъ литературный реализмъ есть, подобно романтизму, только частный случай проявленія въ художественномъ словъ опредбленнаго исихологическаго типа. Въ русской литературћ «реалистическій типъ» господствовалъ до конца XIX-го въка, до Чехова; Крыловъ и Грибобдовъ были его предтечами, а Пушкинь быль его пророкомъ и пъвцомъ. Еще ранте 1825 года въ Пушвинт постоянно сказывалось стремленіе къ реальной дъйствительности, кь живому человъку. «равнодушная природа» сіясть для Пушкина: «мертвою красою», его радуеть только «младая жизнь»; самыя картины природы у Пушкина безжизненны, если при среди нихъ человрка, критеріемъ и мрриломъ опружающей природы для него неизбъжно, служить человъческая личность. Этимъ выставленіемъ на первый планъ реальной личности, быть можеть, въ значительной мъръ объясняется и соціологическій индивидуализмъ, въ которомъ у Пушкина элементъ признавія общественности мало-по-малу сходиль на нъть. Въ своемъ индивидуализмъ Пушкинъ совмъщалъ всъ три его вида, и, требуя полнаго освобожденія личности, какъ «соціологическій индивидуалисть», онь въ то же время вследь за Карамзинымъ дълалъ шаги по направленію «этическаго пидпвидуализма» въ своемъ «гуманитетъ» (недаромъ основнымь свойствомь его поэзіп Бълинскій признаваль гуманность, празумъя подъ этимъ словомъ безконечное уважение къ достоинству челов вка, какъ человъка»); въ то же самое время онъ вслъдъ за Жуковскимъ приближался въ области лирики къ «эстетическому индивидуализму» (недаромъ въ самыхъ первыхь его пьесахъ Бълинскій видить «сильную, одушевленную субъективнымъ стремленіемъ личность»). Трудно сказать, какъ развивался бы далье Пушкань по всёмь этимь направленіямь, если бы теченіе его жизни и всей русской общественной жизни продолжало идти впередъ безъ резкихъ поворотовъ; но въ жизни Пушкина случилась ссылка въ Михайловское, въ жизни русской интеллигенціи-1825-ый годъ.

H.

«Je sens que mon ame s'est tout-a-fait developpée, je puis créer»—говориль Пушкинь, окончивь въ 1825 мь году «Бориса Годунова» 1); если прибавить, что въ томъ же году Пушкинымъ написаны IV-ая глава «Евгенія Онъгина», «Женихъ», «Графъ Ну-

^{1) «}Я чувствую, что душа моя совершенно созрѣла, я могу творить».

линъ» и др., то надо будетъ признать, что сознаніе Пушкана не обмануло его: онъ дъйствительно созрълъ для творчества, и Мицкевичъ имълъ полное основаніе воскликнуть послъ прочтенія трагедін Пушкина— «tu Shakepeare eri, i fata inant» '). Хотя Пушкинъ въ наивности души и полагалъ, что имъ написано «истинно-романтическое» произведение, но въ дѣйствительности это быль разрывь съ романтизмомъ, разрывъ съ литературнымъ мѣщанствомъ, геніальное провозглашение принциповъ литературнаго, реализма. Разрывъ съ романтизмомъ, конечно, еще не знаменоваль собою разрыва съ «соціологическимъ индивидуализмомъ»; но къ этому принудили Пушкина

результаты событій 1825-го года.

Результатомъ этихъ событій была система оффиціальнаго м'вщанства, съ которой мы познакомимся въ следующей главъ. Личность въ борьбъ за самоосвобожденіе была раздавлена государствомъ; Левіаоанъ торжествоваль; просвъта надежды не было никакого. Русская интеллигенція, эта носительница иден личности, была разгромлена; немногіе выброшенные грозою на берегь должны были затанть глубоко въ душъ прежніе идеалы. Мало-по-малу смирился и Пушкинъ; глубокій реалисть, онъ увид'влъ, что въ эпоху оффиціальнаго мѣщанства идеалы равноправія личности и общества—не реальны, не осуществимы; бороться же за нихъ во что бы то ни стало онъ не могъ, онъ никогда не быль бойцомъ. Но въ то же самое время пдея личности была ему слишкомъ дорога, чтобы съ легкимъ сердцемъ пожертвовать ею торжествующему Левіноану; надо было найти выходъ изъ этой дилеммы. И воть Пушкинъ все болъе и болъе начинаетъ склоняться отъ соціологическаго къ эстетическому индивидуализму; этому

^{1) «}Если судьба позволить—ты будень Шекспиромъ!»

And the second s

способствовала еще, какъ мы это увидимъ, ожесточенная борьба Пушкина съ мѣщанствомъ: презирая его, поэтъ затворился въ гордомъ одиночествѣ эстетическаго индивидуализма. Пушкинъ не отрекся отъбылыхъ идеаловъ, но перенесъ ихъ цѣликомъ въ другую область; онъ не палъ, а, по вѣрному замѣчанію Бѣлинскаго, «сдѣлался самимъ собой, но, по несчастью, въ такое время, которое было очень неблагопріятно для подобнаго направленія, отъ котораго выигрывало искусство и мало пріобрѣтало общество Какъ бы то ни было, нельзя винить Пушкина, что онъ не могь выйти изъ заколдованнаго круга своей личности»...

«Эстетическій индивидуализмъ» Пушкина приводить насъ прежде всего къ вопросу объ его отношеніи къ теоріи искусства для искусства; къ сожалънію, мы не можемъ пройти мимо этого стараго, жеваннаго и всъмъ надожвшаго вопроса. Вскрыть обычную ошибку въ ръшеніи этого вопроса - какъ со стороны утилитаристовъ, такъ и со стороны представителей «чистаго искусства» — мы понытаемся впоследствін; теперь-же мы ограничнися только самынъ необходимымъ, и прежде всего укажемъ, что пменно Пушкинъ со своими литературными сверстниками закрѣппль въ русской литературъ теорію «искусства для искусства», какъ ни стараются снять съ него это тяжкое обвинение нъкоторые критики; и быть можеть въ этомъ одна изъ главныхъ заслугъ Пушкина передъ русской литературой. Онъ первый ясно и опредъленно высказаль, что въ области художественнаго творчества должно руководиться только и исключительно принципомъ искусства для искусства, что тенденціваное искусство есть уже ремесленничество; но въ то же время онъ никогда не утверждаль, что принципь чистаго искусства должень быть применень ко самому художнику, какъ это впоследствін сделали эстеты восьмидесятыхъ и девяностыхъ годовъ; никогда онъ не утверждалъ, что поэтъ долженъ всецёло уйти въ искусство и въ немъ одномъ видёть цёль и смыслъ жизни. Цюль искусства—въ искусствю, но цюль художника, какъ меловобы во самой жизни: такова была, какъ можно предполагать, мысль самого Пушкина, при чемъ главное свое внимание онъ обращалъ на первую половину этого положения.

Жизнь во всей ея широтъ всегда притягивала къ себъ величайшаго изъ нашихъ реалистовъ; но въ пскусствъ онъ не признавалъ никакихъ стъсняющихъ поэта рамокъ тенденціи или пользы. Въ этомъ своемъ «эстетическомъ индивидуализмѣ» онь шель по стопамь Жуковскаго, но шель сознательно и съ открытыми глазами, въ то время какъ Жуковскій все время пытался ухватиться за призракъ «пользы», «цёлп» въ искусстве; интересно при этомъ, что именно Жуковскій своей лирикой открыль дорогу эстетическому индивидуализму въ русской литературъ, и самъ же испугался своего индивидуализма. Въ одномъ изъ писемъ къ Пушкину онъ предлагаетъ ему первое мѣсто на русскомъ Парнасѣ, «если съ высокостью ленія соединишь и высокость цівли», —подчеркиваеть Жуковскій; въ другой разъ онъ пишеть: «я не знаю ничего совершенные по слогу твоихъ Цыганъ. Но, милый другь, какая цёль! Скажи, чего ты хочешь отъ своего генія? Какую память хочешь оставить о себѣ отечеству, которому такъ нужно высокое?» Въроятно, желая создать нъчто «высокое» для отечества, которое такъ нуждается въ этомъ, Жуковскій нісколько літь спустя снова принялся за свои баллады, до верху наполненныя чертями, мертвецами, въдьмами, вранами и прочими ужасами, хотя и не выясниль, въ чемъ была здёсь высокая цёль? Пушкинъ великолъпно отвътилъ своему побъжденному учителю: «ты спрашиваешь, какая цёль у Цыгановъ?

Воть на! Цёль поэзін— поэзія, какъ говорить Дельвить (если не украль этого). «Думы» Рыльева ць-пять, а все невпопадь»...

III.

Такъ Пушкинъ вступилъ на путь «эстетическаго индивидуализма», принципы котораго приблизительно въ то же самое время были имъ высказавы въ «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ» (1824 г.). Здъсь впервые Пушкинъ свое одиночество, свой разрывъ съ «презрънной чернью» возводить на степень индивидуалистическаго принципа:

Влаженъ, кто про себя таилъ
Души высокія созданья
И отъ людей, какъ отъ могилъ,
Не ждалъ за чувство воздаянья!
Влаженъ, кто молча былъ ноэтъ
И, терномъ славы не увитый,
Презрънной чернію забытый
Безъ имени покинулъ свътъ!

И чёмь дальше, тёмь больше замыкался Пушкинь въ гордомь одиночестве; если онь иногда и приближался даже къ эстетизму—заявляя, напримеръ, что не только цёль поэзін—поэзія, но п цёль поэта—поэзія, что художникь рождень исключительно

Для ввуковъ сладкихъ и молитвъ, —

то это было только мимолетнымь облачкомь, не оставляющимь тёни на свётломь и широкомь міровоззрёніи Пушкина. Обращаясь къ поэту съ ясно выраженнымь требованіемъ гордой «самоцёльности», Пушкинъ въ то же время указываль ему и на широту жизни, на необъемлемость міра: не случайно почти одновременно написаны имъ стихотеоренія «Поэту» (1830) и «Эхо» (1831 г.). Въ первомъ изъ нихъ-яркая проповъдь «эстетическаго индивидуализма»:

Ты парь: живи одинь. Дорогою свободной Иди, куда влечеть тебя свободный умъ...

Эго лучшій завъть художнику, къмъ-либо и когдалибо данный до настоящаго времени: всякое искусство мыслимо только какъ чистое искусство, истинный художникъ свободенъ отъ всякой тенденціи:

> . . . вѣтру п орлу И сердцу дѣвы нѣтъ закона. Гордись! таковъ и ты, поэтъ, И для тебя закона нѣтъ...

Но въ то же самое время *поэт* долженъ быть человъкомъ, онъ долженъ откликаться своимъ сердцемъ на всъ звуки окружающаго его міра,—

> Реветъ ли звърь въ лъсу густомъ, Трубить ли рогъ, гремить ли громъ, Поетъ ли дъва за холмомъ..

Однимъ словомъ, цѣль поэзіи — поэзія, но цѣль поэта—вся шпрота человѣческой жизни. Этимъ признаніемъ Пушкинъ счастливо избѣжалъ крайностей мѣщанскаго эстетизма; съ другой стороны, въ равной мѣрѣ избѣжалъ онъ и подчиненія какой бы то ни было тенденціи въ своемъ поэтическомъ творчествѣ. Кумиръ пользы казался ему главнымъ богомъ мѣщанской толиы и утилитарная теорія искусства ему претила: «Мы все еще остаемся при понятіяхъ тяжелаго педанта Готшеда,—писалъ Пушкинъ въ томъ же 1850 году:—мы все еще повторяемъ, что прекра ное есть подражаніе изящной природѣ и что главное достойнство искусства есть польза». Мы впослѣдствіи увидимъ, какъ эти же понятія расцвѣли нышнымъ цвѣтомъ уже въ шестидесятыхъ годахъ...

Какъ глубово затрагивали Пушкина всъ эти

мысли, можно видъть хотя бы по одному тому, что въ целомъ рядъ произведеній того времени (1840 г.) онъ касается или этихъ мыслей, или вызванныхъ ими настроеній. Въ «Скупомъ Рыцаръ» Пушкинъ обращается къ психологіи одиночества, къ психологіи того человъка, который можетъ сказать самъ себъ— «ты царь—живи одинъ», подобно поэту; наобороть, и пушкинскій «Поэть» могъ бы сказать словами скупого рыцаря:

Что не подвластно мнё?.. Какъ нѣкій демонь Отселѣ править міромъ я могу... Мнѣ все послушно, я же—ничему; Я выше всѣхъ желаній; я спокоенъ; Я знаю мощь мою: съ меня довольно Сего сознанья... Я парствую!..

Гордое сознаніе мощи, гордое одиночество — оно было особенно близко сердцу Пушкина именно въ это С время, какъ мы видели выше; на этой почет далъ , обильные плоды его «эстетическій индивидуализмъ». д. Но это только первая половина иден Пушкина; вторая половина заключена въ признаніи необходимости широкаго кругозора, безпрестаннаго проникновенія въ кипящую жизнь со стороны гордаго въ своемъ одиночествъ человъка. Этой иден Пушкинъ коснулся въ «Моцартъ и Сальери», окончательно завершенномъ черезъ три дня послъ «Скупого Рыцаря». Сущность «Моцарта и Сальери» — развитіе иден о взаимоотношении между геніемъ и талантомъ: эта характеристика, съ легкой руки Бълинскаго, сохранилась во всей своей неприкосновенности до нашего времени. Въ этомъ, однако, заключена только часть истины. Сальери не таланть, онъ ремесленнивъ въ искусствъ, хотя въ то же время ярый поборникъ теорін чистаго искусства; онъ анатомируеть искусство какъ трупъ и думаетъ достигнуть совершенства «усильнымъ, напряженнымъ постоянствоми»:

686 £04

увъренъ даже, что уже «въ искусствъ безграничномъ достигнулъ степени высокой». Пусть добродушный и геніальный Моцарть признаеть его даже Гевіемъ, наравиъ съ собой, --это ничего не доказываетъ: въдь и Пушкинъ признавалъ въ такихъ посредственностяхъ, какъ Дельвигъ или кн. Вяземскій, прекрасный таланть и вдохновенность! Непосредственный геній Моцарга, широкаго при всей своей глубинъ, противоноставляется узкому ремесленначеству Сальери; «праздный гуляка» Моцартъ, способный «остановиться у трактира и слушать скранача слѣпого», способный возиться на полу съ своимъ мальчишкой въ то время, когда носить въ своей душъ божественное произведение - противопоставляется узкому эстету Сальери, который супрямо и надменно» отрекся отъ всего и «предался одной музыкъ», отвергнувъ и «науки, чуждыя музыкъ», и «праздамя забавы». Такимъ образомъ, если въ Моцарть Пушкинъ визить свободнаго генія, для когораго уполь искусства - искусство (а въдь самъ Моцарть причисляеть себя къ числу людей,

> Пренебрегающихъ презрѣнной пользой Единаго прекраснаго жреповъ),

то въ Сальери онъ казнить эстетическое мъщанство, полагающее, что исключительная циль человикаискусство; въ Моцартъ-широта и геній, въ Сальериремесленничество и узость.

Самъ Пушкинь, конечно, былъ Моцартомъ. а не Сальери: онъ никогда не унижался до эстетизма, онъ всегда отвликался, какъ эло, на всв отзвуки современности. Правда, общественныя движенія были для него послѣ 1825 года закрытой книгой, но въдь это именно были годы, когда разгромленная русская . интеллигенція еще не успъла собраться съ силами для новой борьом на жизнь и на смерть; этимъ 34 197 31137

объясняется и постепенный переходъ Пушкина отъ соціологическаго къ «эстетическому индивидуализму». Впрочемъ, быть можетъ, самъ Пушкинъ понималъ, что роскошные плоды эстетизма въ угнетающую эноху оффиціальнаго м'ящанства—своего рода «Пиръ во время чумы» (написанный имъ, къ слову сказать, одновременно съ «Моцартомъ и Сальери» и «Скупымъ Рыцаремъ»); но повторяю еще разъ, бойцомъ онъ не родился. Поэтому въ концъ концовъ онъ неизбъжно пришель оть «эстетическаго индивидуализма» въ политико-общественному индифферентизму. Надо замътить однако, что проблемы соціологическаго индивидуализма попрежнему глубоко интересовали Пушкина; вопрось о взаимоотношении личности и общества дважды поднимается имъ послъ 1825 года: сначала онъ пишетъ поэму «Галубъ» (1829 — 1833 г.), а затъмъ, не окончивъ ее, пишеть на ти же самию тему «Мъзнаго Всадника» (1833 г.). Общая тема двухъ этихъ столь различныхъ поэмъ — «трагическая коллизія между обществомь и человѣкомь», говоря словами Бѣлинскаго.

IV.

Въ «Галубъ» Пушкинъ явно стоитъ еще на сторонъ личности въ ея борьбъ съ обществомъ. По оставшейся въ тетрадяхъ Пушкина программъ этой неоконченной поэмы можно предполагать, что содержаніе ея должно было заключаться приблизительно въ слъдующемъ: Тазитъ — черкесъ-христіанинъ — воспитанный вдали отъ родного аула, возвращается подъ сънь отцовскаго дома; сталкиваются два міровозрънія, свободно развизшаяся личность сталкивается съ деспотизмомъ общественнаго уклада. Отцу Тазита, этому типичному представителю общества, нужны въ сынъ

Отважность, хитрость и проворство, Лукавый умъ и сила рукъ;

ему нужно, чтобы сынъ притащилъ на арканъ бъжавшаго раба, чтобы онъ нечаяннымъ ударомъ свалилъ проъзжавшаго съ товаромъ купца, чтобы онь принесъ отцу голову убійцы своего брата. Тазитъ безмолвно отказывается сдълать и то, и другое, и третье. Происходитъ ръзкій разрывъ: общество, вълиць отца, съ проклятіемъ изгоняетъ осмълившуюся быть самостоятельной личность; Тазитъ удаляется въ тотъ аулъ, гдъ живеть любимая имъ дъвушка, но теперь—

...горе имъ: онъ—сынъ изгнанный, Она—любовница его...

Горе той личности, которая осмълилась проявить свою индивидуальность въ разръзъ съ желаніями общества: Тазить обречень на погибель. Сватовство Тазита, очевидно, отклонено съ презръніемъ отцомъ подруги его сердца: на отверженномъ членъ общества, на человъкъ вного міровоззрѣнія лежить клеймо позора. Тазить съ отчаяньемъ удаляется, но не отказывается отъ борьбы: онъ хочетъ привить изгнавшему его обществу свою мораль, свои этическія воззрѣнія — вѣдь онъ христіанинъ! Поэтому онъ делается монахомъ и черезъ некоторое время идетъ миссіонерствовать въ свои родные аулы. Какъ разъ въ это время въ горахъ Кавказа пдеть война и Тавить попадаеть вь разгарь кинящаго сраженія, быть можеть, между двумя племенами, между двумя аулами. Онъ, проповъдникъ всемірной любви, въроятно желаеть остановить преступное кровопролитие между родными ему по крови людьми, и гибнеть самъ, какъ человъкъ внъ закона, какъ человъкъ отвергнутый обществомь, гибнеть, быть можеть, оть руки своего же отца.

Таково, насколько возможно догадаться, содержаніе этой поэмы. Мы видимь, что въ ней личность погабаеть въ борьбъ съ обществомъ, но - и это самое важное - не побъждается имъ. Тазитъ умираеть если не побъдителемь, то и не побъжденнымь: общество не заставило его отлазаться ни отъ единой іоты его върованій и мивній, а, наобороть, только усплило и укръпило ихъ. Такъ впоследствін погибли, подобно Тазиту, и Пушкинъ и Лермонтовъ въ борьбъ съ окружавшимъ имъ мъщинствомъ: погибли-но не бына побъждены: судьба Тазита - судьба самого Пушкина. И Пушкинъ относится къ Тавиту мягко и любовно; оно весь на сторонь гонимей обществомо личности, хотя и признаеть почти полную неизбиженость ея инбели. - такова тема, разработанная Пушкинымъ въ «Галубъ».

Въ «Медномъ Всадникъ» эта же самая тема разрабатывается Пушкинымъ уже и всколько иначе. Личность не только почибаеть, но и побъждается государствома, и Пушканъ какъ бы предлагаетъ личности смирить: я передъ поглощающимъ ее Л-віаозномъ, олецетвореннымъ въ образъ Мъднаго Всадника. Сь одной стороны — Петръ, гигангъ на бронзовомъ конь, властно вздергивающій уздой жельзной Россію на дыбы, властно подавляющій врава личности ради блага всего государства, властно воздвига-ощий «изъ тьмы льсовь, изъ топи блата» огромный городь на гибель сотенчь и тысячачь отдёльныхь личностей; сь другой стороды -представитель этихь последнихь, единичная и довольно безцабаная личность, быть можеть, даже слишкомъ бещевтия почти инчтожная, но пр тикоп ставляемая стихійной общественной силь гиганта изъ мъди и бронзы. На чьей сторонъ симпатіи Пушкина?

Бълинский счигаль эту поэму грандіозной апоосозой Пегра Велакаго: «при взглядь на Великана... мы хотя и не безъ содроганія сердна, но сознаемся, что этоть бронзовый гиганть не могъ уберечь участи индивидуальностьй, обезпечиная участь народа и государства»... Нътъ сомытнія, что такова была и мысль самого Пушкина: недаромы онъ наказываетъ сумасшесть јемъ своего безцьтвнаго героя за его дерзкое проклятіе стихійной силт того,

...чьей волей роковой Надъ моремъ городъ основался.

Но въ то же самое время мы жестоко ошибемся, если предположимъ, что Пушкивъ окончательно разорвалъ съ «сеціологическимъ индинидуализмомъ»; ошибка эта станетъ наиболте ясьой изъ того двойственнаго отношенія къ Петру, которое такъ часто замѣчалось у Пушкина. Въ то же самое время, когда Пушкинъ такъ или иначе рішалъ проблему соціологическаго индивидуализма въ двухъ вышеуказанныхъ поэмахъ. снъ былъ увлеченъ планомъ написать исторію Петра Великаго и съ 1831 года до конца своей жизни зщательно собираль матеріалы для этой исторіи. Надо думать, что въ Петрѣ его именно интересовала стихійная спла государственности, подавлян шая эпинёсть; по крайней міръ плодомъ изуч-нія этихъ матеріалсья явглся «Мѣдный В адникъ». Но и въ этихъ матеріалахъ, равно какъ и въ помъ можно вайти на ряду съ признавіемъ заслугь Петра и ръзкія выходки противъ его подавлянщей личность системы. Въ «Мфлномъ Всадникъ, въ утерярномъ и до сихъ поръ не изстановленномъ монолетъ Еггетія передъ памятичнимъ Петра выражень быль яскій протесть поглещенней безжалостнымъ Легіаваномъ пединилуальности; мы можемь только догодываться, какая сила была вложена въ уста личности, птокливающей пресловутую «историческую необходимость», такимъ глубокимъ

индивидуалистомъ, какъ Пушкинъ: недаромъ монологъ этотъ (въ 30—40 стиховъ) производилъ потрясающее впечатлъніе при чтеніп поэмы самимъ

Пушкинымъ 1).

Къ этому надо прибавить, что къ самому Петру Пушкинъ подчасъ чувствоваль ненависть такую же, какъ и несчастный герой его поэмы; по словамъ Анненкова («Въстникъ Европы» 1880 г., № 6), имъвшаго случай прочесть полностью также утраченныя замътки Пушкина къ исторіи Петра Великаго, замътки эти отличаются иногда крайней ръзкостью. «Изданъ тиранскій указъ...» «Петръ опять издаль одинъ изъ своихъ жестокихъ указовъ...», «несправедливость и жестокость...», «уничтожиль всякую законность...», — такими выраженіями полны эти замътки Пушкина, который не могь не видъть, какъ право и правда индивидуальности были жестоко поруганы разверзшимъ пасть Левіананомъ. «У князя Меньшикова — замѣчаеть Пушкинъ къ 1711 — 1714 гг. — на фейерверкъ на щитъ надпись: «пдъже правда, тамъ и помощь Божія», однако Бого помого не намо...» (курсивъ Пушкина); и дъйствительно, если на сторонъ Левіавана были право п правда, то, конечно, они были не человъческими. Это чувствовалъ Пушкинь тъми проблесками этическаго индивидуализма, которые мы у него отмътили выше. Вотъ почему отношение его къ Петру всегда было двойственнымъ; Пушкинъ высоко ценилъ (хотя иногда и подвергалъ критикъ) «государственныя учрежденія» Петра, и негодоваль на его временные указы, «писанные кнутомъ»: «первыя были для въчности или, по крайней мъръ, для будущаго; вторые вырвались у нетерпъ-

¹⁾ Такъ передаеть кн. П. Вяземскій, лично слышавшій этоть отрывекь и указывавшій на другихь лиць, также слышавшихъ его. Однако разсказъ этоть ничьмъ не подтвержденъ, а потому и подвергается сомньнію.

ливаго, самовластнаго помъщика. NB. Это внести въ исторію Петра, обдумавт», прибавляеть и подчеркиваеть Пушкинъ. Эта двойственность Петра обусловливаетъ двойственное отношение къ нему Пушкина; соціологическій индивидуализмъ поэта колебался въ 1831—1836 г. въ ту или иную сторону въ зависимости отъ того, какое лицо Петра видълъ передъ собою Пушкинъ. Во всякомъ случав и въ послъдніе годы жизни поэта проблема личности и общества такъ же глубоко интересовала его, какъ и въ періодъ созданія «Цыганъ» и увлеченія идеалами декабристовъ; отношеніе къ этой проблемъ уже нѣсколько иное, но и тутъ Пушкинъ считаетъ возможнымъ безусловно стать (въ «Галубѣ») на сторону личности въ ея борьбъ съ обществомъ и отнюдь не безусловно (въ «Мѣдномъ Всадникѣ»)-на сторону представителя «государственной необходимости» въ его борьбъ съ личностью 1).

Такимъ образомъ Пушкинъ до конца жизни разрабатывалъ вопросъ объ отношеніи личности къ обществу; впрочемъ, мы видёли, что въ это время центръ
тяжести его идеаловъ и интересовъ быль перенесенъ
съ соціологическаго на эстетическій, а отчасти и
этическій индивидуализмъ. Бёлинскій, этотъ поистинѣ
великій критикъ земли русской, острымъ взглядомъ
замѣтилъ это еще въ началѣ сороковыхъ годовъ и
закончилъ свои критическія статьи о Пушкинѣ слѣдующимъ выводомъ, подчеркивающимъ этическій и
эстетическій индивидуализмъ нашего поэта: «Пушкинъ былъ по преимуществу поэтъ-художникъ и
больше ничѣмъ не могъ быть по своей натурѣ. Онъ
далъ вамъ поэзію какъ искусство, какъ художество.
И нотому онъ навсегда останется великимъ, образ-

¹⁾ Дальнъйшее развите этихъ же взглядовъ-въ нашей статьъ "Поэмы Пушкина" (въ книгъ "Пушкинъ и Бълинскій", 1916 г.).

цовымъ мастеромъ поэзіи, учителемъ искусства. Къ особеннымъ свойствамъ его поэзін принадлежить ел способность развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство иманности, разумья подъ этимъ словомъ безконечное уважение къ достоинству человъка, какъ человъка»... Къ этому проницательному опредъленію можно прибавить еще только, что глубинная мудрость Пушкина заключалась въ пріятін міра и жизни, что глубокая философія лежала въ основъ пушкинскаго реализма. Но это-тема особая; о ней надо говорить вплотную и подробно 1). Здъсь же мы ограничиваемся лишь изученіемъ отношенія Пушкина къ вопросу о связи личности съ обществомъ, и видимъ, что власть надъ личностью государства Пушкинъ, какъ кажется, признавалъ, хотя и съ большими оговорками; власть же надъ личностью общества онъ зато отрицаль самымъ категорическимъ образомъ.

Пушкина было «общество!» Ко-Что такое для нечно, онъ не могъ понимать это слово въ научномъ соціологическомъ смыслѣ, хотя бы по одному тому, что въ то время и соціологіи-то еще не существовало. Пушкинъ постоянно противопоставляетъ личность опредъленной общественной пришть, по тъмъ или инымъ характернымъ признакамъ последней; лично онъ всю жизнь вель борьбу съ бюрократической аристокраліей, въ кругу которой судьба заставила его жить и умереть. Эта общественная группа была носительницей идеаловъ эпохи и системы оффиціальнаго мѣщанства, и, противопоставляя этой группъ личность - прежде всего свою личность - Пушкинъ темь самымь объявляль войну міщанству, заполонившему жизнь. Грибобдовъ началь войну съ мъщанствомъ въ области литературы, Пушкинъ велъ

¹⁾ Объ этомъ см. въ той же нашей книга статьи "Евгевій Онагинъ" и "Поэвія душевнаго единства".

ее въ самой жизни. Въ этой его борьбъ съ мъщанствомъ за цфльность своей индивидуальности заключается объяснение многихъ его теорій, возаржній, поступковъ, словъ, мало понятныхъ въ отдельности; на этомъ правтическомъ проявлении «соціологическаго индивидуализма» Пушкина намъ поэтому необходимо остановиться подробиве. Мы коснемся личной жизни поэта, ибо не расчленяемъ насильственно художника отъ человъка; нъкогда Гончаровъ (въ статьъ «Нарушеніе Воли») выразиль мысль, что личность автора не подлежитъ суду критики: еже писахъ-писахъ, а до прочаго вамъ нътъ викакого дъла, якобы можеть заявить всякій авторь. Этоть характерно-мъщанскій взглядь лучше всего опровергается, какъ мы увидимъ, на примъръ самого Гончарова; но и Пушкинъ остался бы намъ наполовину неясенъ, если бы не коснулись его борьбы съ мъщанствомъ, его личной жизни.

V.

Общественная группа, съ которой боролся Пушкивь, была, сказали мы, (юрократическая аристократів; въ этой борьбѣ во вмя правъ личности Пушкинъ котѣль найти оружіе въ праваль аристократии стариной, родовой. Конечно, это было исторической ошибкой, особенно послѣ 1825 года, но дѣлать изъ этой ошибки преступленіе Пушкива и объяснять его аристократиямъ камерт-юнверскимъ мундиромъ въ настоящее гремя уже, кажется, никто не рѣшится. Сословные предразсудки Пушкина коренились въ его борьбѣ съ мѣщанствомъ бюрократической аристократіи, въ его борьбѣ за права пндивидуальности. «Је п'aspire qu'a l'indèpendance» 1), неоднократно повто-

^{1) «}Я стремлюсь только къ независимости».

ряеть Пушкинь еще въ эпоху своихъ невольныхъ скитаній по Россіи; независимость писателей въ частности - его мечта: «мы не хотимъ быть покровительствуемы равными--вотъ чего подлецъ Воронцовъ не понимаеть, —пишеть Пушкинъ Бестужеву: — онъ воображаеть, что русскій поэть явится въ его передней съ посвящениемъ или съ одою, а тотъ является съ требованіемъ на уваженіе, какъ шестисотлътній дворянинъ. Дьявольская разница!»... «Ты сердишься, что я хвалюсь шестисотлётнимъ дворянствомъ (NB: мое дворянство старбе), -- находимъ мы въ следущемъ письмъ: - какъ же ты не видишь, что духъ нашей словесности отчасти зависить отъ сословія писателей?» Духъ независимости — вотъ что дорого Пушкину, но въ то же самое время онъ требуетъ полнаго равенства въ самой литературъ: «въ мирной республикъ наукъ какое намъ дъло до гербовъ и пыльныхъ грамоть?» Такимъ образомъ аристократизмъ Пушкина не былъ у него сословнымъ предразсудкомъ, а питлъ болте глубокое значеніе, быль развить въ цёлую систему и имъль весьма опредъленный политическій характеръ. Пушкинъ полагаетъ, что старинная, родовая, наслъдственная аристократія--непремънно наслъдственная, ибо «l'hèrèditè de la la haute noblesse est une garantie de son indèpendance» 1)-является своего рода конституціонной гарантіей, будучи сдерживающимъ моментомъ деспотизма; такая точка зрвнія Пушкина была причиной его отрицательнаго отношенія къ бюрократической реформ'в Сперанскаго, а отчасти и Петра Великаго; табель о рангахъ, которую впоследствіи Гоголь признаваль изобретеніемь Господа Бога, была для Пушкина первопричиной всъхъ неустройствъ русской жизни (VI, 326). Иде-

^{1) «}Наслъдственность высшей знати-гарантія ея независимости».

аль Пушкина—аристократическая олигархія, самое существованіе которой, по его мысли, было бы достаточной гарантіей общей независимости; бюрократическая аристократія— это рагуепи-осель, лягающій демократическимь конытомь геральдическаго льва; къ этой высшей бюрократіи Пушкинь быль безпощадень (см. «Моя родословная» и др.).

Конечно, все это не что иное, какъ, съ одной стороны, слѣпое слѣдованіе по стопамъ графа Мордвинова, съ идеалами котораго мы уже знакомы, а съ другой стороны — политическая близорукость: Пушкинъ върно различалъ своего врага, но наивно искаль спасенія въ навѣки погибшей утопів; послѣ 14-го декабря странно было мечтать объ аристократической олигархіи. Какъ утопающій за соломинку, схватился Пущкинъ за ходившую въ то время (1830 г.) молву о томъ, будто государь составилъ «проектъ новой организаціи контрь-революціи революціи Петра» (VII, п. 220); съ этой «контръ-революціей» мы познакомимся въ следующей главе-она оказалась системой оффиціальнаго м'єщанства. И Пушкинъ, все время пытавшійся примириться съ этой системой, кончаеть тыть, что на закаты своей жизни горько восклицаеть въ своемъ письмъ къ Чаадаеву: «il faut bien avouer, que notre existence sociale est une triste chose»... 1)

Какъ бы ни невърно оцънивалъ Пушкинъ общее положение дълъ и группировку классовъ, но врага своего онъ видълъ ясно, и это самое важное; съ этимъ врагомъ онъ боролся до послъдняго издыханія. Теперь въроятно никто уже не впадетъ въ ошибку Писарева и не обрушитъ громовъ на голову Пушкина за его презръніе къ «толпъ», къ «черни», къ «безсмысленному народу»: слишкомъ очевидно, что всъ эти

^{1) «}Надо совнаться, что общественное существование нашепечальная вещь».

эпитеты относятся къ той общественной группъ, съ которой неуставно боролся нашъ поэтъ. Ненависть къ мъщанству, воплощенному въ этой общественной группъ, ни на минуту не умирала въ Пушкинъ; «презрънная чернь», «чернь тупая», «безсмысленный народъ» — иныхъ словъ Пушкинъ не имъетъ въ запасъ по отношенію къ торжествующему мъщанству, къ той «свътской черни», о которой поэтъ иногда говоритъ еп toutes lettres (напр, «Евгеній Онъгинъ», гл. VIII, строфа X); употребляя же слова «чернь» и «народъ» въ ихъ обычнемъ смыслъ. Пушкинъ именно противопоставляетъ ихъ свътской черни придворныхъ залъ (см. стих. «Когда великое свершалось торжество»).

Вь этой борьбѣ съ торжествующимъ мѣщанствомъ Пушкинъ быль трагически одинокъ; слѣдствіемъ этой борьбы и этого одиночества было развитіе въ поэтѣ того «эстетическиго индивидуализма», о которомъ мы уже говорили. Но— «ино дѣло— слово, ино дѣло— дѣло»: легко было сказать самому себѣ—

Ты царь-живи одинъ,

петко было въ области искусства удалиться въ гордое одиночество, но нельяя было на дълъ уйти отъ торжествувщого въ жизни мъщанства. Пушкинъ былъ окруженъ этой мъщенской атмосферой, онъ вадыхался въ ней, погибъ въ ней, и гибель эта была тъмъ трагичнъе, чъмъ глубже, была ненависть Пушкина въ духовному мъщанству. Узость претила ему всегда. Еще въ 1825 г., чуть сбросивъ съ себя оковы байронизма. Пушкивъ обвиняетъ даже Байрона въ мъщанствъ за его узость: «quel homme que се Shakespeare! је n'en reviens раз,— пишетъ онъ въ эту эпоху своего первасо знакомства съ Шекспиромъ:— сотте Вугоп le tragique est mesquin devant lui! Се

Byron qui n'a jamais conçu qu'un seul caractère»... 1) Ели даже въ Байронъ Пушкинъ находиль мъщанство, то что же сказать объ его отнешени къ той поистинъ мъщанской толпъ, съ которой ему приходилось всю жизнь бороться?.. По поводу того же Байрона и его посмергныхъ «Занисовъ» Пушкинъ разражается ръзкой филиппинкой прогивъ мъщинства: «толна жадно чигаетъ исповъди, записки еt:, потому что въ подлости своей радуется унижению высокаго, слабостямь могучаго. При открытін всякой мерзости она въ восхищении. «Онъ маль, какъ мы, онъ мерзокъ, какъ мы!» Врете, подлецы: онъ и малъ и мерзокъ не такъ, какъ вы - нначе!» Эта мъщанская толна прекрасно понимала, что Пушкинъ не можетъ снизойти до ея уровня, не можетъ стать «какъ всво, что если даже оть споткнется на скользкомъ пути мъщинства, то все-таки смъло кинетъ въ глаза свътской черни, въ отвътъ на ем злорадство: вреге, подлецы! я даже въ мъщинствъ не таковъ, какъ вы, я всюду и вездъ сохраняю свою индивидуальность. И за эго, безличное мъщанство, быть можеть, болве всего преследовало Пушкина.

Правда, самому Пушкину иногда было тяжело полное душевное одиночество; ему иногда хотёлось жить «какъ всё», ноступать «какъ большин тво»... Съ горькой проніей заявляеть онъ о своемъ желаній войти въ ряды мёщанства: «до сихъ поръ я жилъ иначе, какъ обывновенно живутъ. Счастья мнё не было. ІІ n'est de bonheur que dans les voies соштинез... 2) Мнт за 30 лётъ. Въ тридцять лътъ поди обыкновенно женятся. Я поступаю какъ люди»...

2) «Счастье—лишь на общихъ пугахъ».

¹⁾ Шекспиръ—что это за человѣкъ! Я не могу притти въ себя! Какимъ мѣщ іниномъ является передъ нимъ «трагическій» Байронъ! Эготъ Байронъ, который разъ на всегда постигъ только одинъ характеръ»... (Инсьма, VII, 113; ср. V. 53).

(VII, п. 274). Въ это же время въ VIII-й главъ «Евгенія Онъгина» онъ съ грустной проніей рисуеть обычный мъщанскій идеаль человъка; онъ считаеть счастливымъ того,

Кто страннымъ снамъ не предавался, Кто черни свътской не чуждался, Кто въ двадцать лътъ былъ франтъ иль хватъ, А въ тридцать—выгодно женатъ... О комъ твердили цълый въкъ: N. N.—прекрасный человъкъ!

Напрасныя надежды войти въ колею мъщанства! И Пушкинъ самъ скоро почувствовалъ, какъ глубоко онъ ошибся, полагая, что можеть примириться съ мѣщанствомъ свътской черни, съ мѣщанствомъ окружающей жизни; именно эта попытка примиренія съ мъщанствомъ -- женитьба поэта на великосвътской красавицъ, не умъвшей ни цънить, ни понимать своего мужа-послужила первой причиной гибели поэта. Нельзя безъ горькаго, гнетущаго чувства читать письма последнихь пяти леть его жизни, особенно его письма къ жент, въ которыхъ вырисовывается страшная каргина постепенной гибели поэта

> Среди досадной пустоты Разсчетовъ, думъ и разговоровъ...

Чтобы жить «какъ люди» среди свътской черни, Пушкину приходится съ утра до ночи работать надъ скучнымъ, нелюбимымъ дъломъ, пускаться, что называется, во всъ тяжкія—и писать женъ: «Экое горе! Вижу, что непремънно нужно имъть мнъ 80.000 доходу. И буду ихъ имъть! Не даромъ же пустился въ журнальную спекуляцію»... И въ то же самое время отчаянныя, хватающія за сердце признанія: «я теряю время и силы душевныя, бросаю за окошки деньги трудовыя и не вижу ничего въ будущемъ»... «Писать книги для денегъ, видитъ

Богъ, не могу. У насъ ни гроша върнаго дохода, а расхода 30.000»... Наконецъ, утопающій въ мѣщанскомъ болоть великій поэть хватается за соломинку, за последнюю надежду - «плюнуть Петербургъ, да подать въ отставку, да удрать въ Болдино»: «откажусь оть всего - и стану жить припъваючи»... Но туть уже на него обрушиваются всъ силы мъщанства, даже съ Жуковскимъ во главъ; его обвиняють въ неблагодарности, въ преступленіи, чуть-ли не въ безумін (см. письма Жуковскаго, 1834 г. іюль). Въ отвътъ Пушкина слышится крикъ затравленнаго человъка: «я, право, самъ не понимаю, что со мною дълается. Идти въ отставку, когда того требують обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствіе-какое туть преступленіе? какая неблагодарность?» Но мъщанство побъдпло — Пушкинъ остался среди свътской черни, донимавшей великаго поэта булавочными уколами и исподтишка готовившей ему гибель: приближалось 27 января 1837 года, когда пуля ничтожнаго представителя свътской черни, торжествующаго мъщанства, погубила величайшаго русскаго поэта, борца за права личности противъ мъщанства.

Такъ погибъ въ борьбѣ съ мѣщанствомъ первый и величайшій представитель глубиннаго реализма среди русской интеллигенціи, первый поэтъ, достигшій вершины «эстетическаго индивидуализма», стремившійся примириться съ окружающей дѣйствительностью и погвбшій отъ обыденности мѣщанства. Онъ погибъ, но не быль побѣжденъ: побѣжденнымъ онъ оказался бы тогда, если бъ подъ давленіемъ среды воспринялъ мораль окружающаго его міра, отказался отъ своихъ былыхъ вѣрованій, сталъ жить «какъ всѣ» въ угоду свѣтской черни и удовлетворился такой жизнью. Побѣжденъ онъ не

быль: подобно своему Тазиту онь паль въ борьбъ съ обществомь; онь самь предвидъль свою гибель, ибо «Галубь» написань какъ-разъ на тему неминуемости гибели личности въ ея трагической коллизіи съ обществомь...

VI.

Еще при жизни Пушкина явился его преемникь, во многихь отношеніяхь — полярная противоноложность Пушкину, но вь борьбъ съ мъщанствомъ
въ тысячи разь болье опасный противникъ. Лермонтовъ снова перенесъ борьбу съ духовнымъ мъщанствомъ изъ жизни въ литературу, и, быть
можетъ, до самаго конца XIX го въка мъщанство
не имъло болье безпопцаднаго, болье непримиримаго
врага.

Анти-мъщанство Лермонтова-основа содержанія его творчества, та его сторона, которая объясняетъ намъ его съ головы до ногъ. Лермонтовъ боролся съ мъщанствомъ не опредъленной общественной пруппы, подобно Пушкину, а съ мыщанствомъ всего общества въ его цъломъ, съ мъщинствомъ самой жизни, какъ таковой. Въ этомъ его оригинальная черта, кажется, до сихъ поръ мало понятая, въ этомъ его тъснъйшая связь съ большимъ художникомъ, отдъленнымъ отъ него полу-въкомъ - съ Чеховымъ. Антимъщанство Лерминтона -- ключъ ко всему его міровоздъйствію; ненависть къ «обыденному» привела его къ яркому провозглашенію правъ личности п приблазила къ тому истинному романтизму, котораго до того времени не было въ Россін; она же вложила въ его сердце то презръніе къ окружающему міру, которое принято считать характернымъ легмонтовскимъ цессимизмомъ.

Лермонтовъ-пессимисть: такое утверждение (по крайней мъръ выраженное въ такой формъ) кажется намъ въ высокой степени сомнительнымъ; мы увидимъ, что Лермонтовъ, подобно Чехову, одновременно является и ръзкимъ пессимистомъ и яркимъ оптимистомъ. Чеховъ, подобно Лермонтову, не находиль выхода изъ окружающей атмосферы мъщанства, но въ то же самое время онъ твердо, религіозно върилъ въ грядущую гибель мъщанства и счастье всего человъчества: «какъ короша будетъ жизнь на землѣ черезъ триста лѣтъ!» — такова была его обычная фраза. Лермонтовъ, подобно Чехову, задыхался въ атмосферъ мъщанства жизни, но въ то же время онъ върплъ, что сама по себъ жизнь можеть быть прекрасной даже не черезь триста лътъ, а въ настоящее время. Она можетъ быть прекрасной — п является большей частью мъщанской: что за трагическое противоръчие! Въ немъ лежитъ источникъ пессимизма Лермонтова, его мизантропія, его ненависть къ жизни, какъ проявленію мъщанства.

Общензвъстны причины, оказавшія особенно сильное вліяніе на настроеніе и взгляды молодого поэта: семейныя неурядицы, душевный разладъ на ихъ почвъ—не могли не отразиться отрицательнымъ образомъ на отношеніи поэта къ жизни и людямъ; главная причина однако лежитъ еще глубже и ваключается въ глубокомъ раздвоеніи между психологическимъ типомъ Лермонтова и выработаннымъ имъ міровоззрѣніемъ. Какъ бы то ни было, но уже пятнадцатилѣтній поэтъ вполнѣ опредѣленно пришелъ къ мизантропическому пессимизму и къ ненависти къ жизни, этому воплощенному мѣщанству:

И презираль онь этоть мірь ничтожный, Гдѣ жизнь—измѣнь взаимныхь вѣчный рядь, Гдѣ радость и печаль—все призракъ ложный... Намь ньть надобности следить за подобными мотивами въ поэзіи Лермонтова—они слишкомь общеизвъстны; можно только указать, что чьмъ дальше шло время, тьмъ глубже и безнадежные становилось у Лермонтова это настроеніе: стихотвореніе «Благодарность» (1840 г.)—это трагедія въ возгли строкахъ, это последній стонь измученнаго міщанствомъ жизни человька.

Лормонтовъ ненавидълъ мѣщанство жизни самой по себъ, и въ то же время, подобно Пушкину, погибъ отъ обыденности мъщанства окружающей жизни. Какъ и Пушкинъ, онъ пытался быть «какъ всъ», и чуть не захлебнулся въ тинъ духовнаго мъщанства. Вы эпоху «двухъ ужасныхъ годова» его юнкерства (его же собст-енчое выражение изъ ин виа къ М. А. Лопухиной, отъ 23 дек. 1834 г.) онъ занимается мараніемъ скабрезныхь поэми; позднёе онъ тратить время и сплы на некраспвыя, чтобы не скавать больше, попытки возвысить свое значение среди свътской черни безчестнымъ путемъ (исторію эту съ редкой исиренностью описалъ самъ Лермонтовъ въ автобіографическомъ романъ «Княгиня Л говская»; см. IV, 269-270); еще позже онъ радуется своимъ усивхамъ среди свътской черни, гордится своею ролью льва петербургских салоновь: «j suis aussi un lion», съ тщеславіемъ заявляеть онь (IV, 27×). Салонный левъ съ идеалами гвардейскаго офицерика: «b n Dieu! Si vous saviez la vie que je me prepese de mener!.. Oh, cela sera chermant! Deberd des bizerreries, des folies de toute espèce et de la poès e n yès dons du champagne» 1) (IV. 265). И все это тщетныя полытки войти въ общую мъщанскую колею: Лермонтовъ пробуеть окунуться съ головой въ пошлую обыденную

^{1) «}Боже мой, если бы вы знали, что ва жизнь я предполагаю вести! О, это будеть чудесно! Прежде всего—чудачества, сумаебродства всякаго рода, и поэзія, утопленная въ шампанскомъ»...

жязнь для того, чтобы спастись оть сознанія мѣщин тва жизни возбще; но ему не было спасенія.

Гордясь своими усибхами среди свътской черни, Лермонтовъ ни на минуту не могъ закрыгь глаза на жалкое духовное мѣщ нство эгой квинтъ-э сенціп мъщанства. Подоїно Пушкину, онъ не имбетъ другихъ выраженій, другихъ эпитетовъ для характеристики этой савтской черни, кром в сжанная толиа», «безумный свъть» и т. п. (I, 225, 132 и др.) Его поражало полибишее безличе, совершенитишее отсутстве индивидуальности въ представителямъ того общества, въ которомъ онъ вращался: «ils me font l'effet d'un jardin français, bien etroit et simple, mais ou l'on peut se perdre pour la première fois, car entre un arbre et un autre le cis-au du Maitre a ote toute difference!.. 1) (IV, 257). И не надо думать, что духовное мъщинство Лермонтовъ видить только въ одной общественной группъ, подобно Пушкону: всъ общественныя группы, все общество, все человъчество кажутся ему насквозь пропитанными мѣщанствомъ. Съ этой точки зрвнія онъ, быть можетъ, ярчайшій индивидуалисть во всей русской латературь, иногда готовь ненавидьть челозька, какт человъка:

> Чѣмъ ты несчастлив:?— Скажуть мнѣ люди. Тьмь я несчастливъ. Добрые люди, что яв!зды и небо— Звъзды и небо! а я—человъкт!..

Зачёмь я не птина, не воронь стенной?— спраниваеть въ другой разъ поэть, и въ этомъ вопросъ
опять звучать ненависть къ мѣщанству всякой человъческой жизни. Впоследстви, въ делгий периодъ

^{1) «}Они производять на меня вчечатльь с фолицузтачно сада, очечь простого и узкато, но вы которомы можно съ первато раза ст. "Диттея, вбо нежницы Хозаппа совершенно сравняли одно дерево съ другимъ».

между Лермонтовымъ и Чеховымъ, такіе вопросы казались смѣшными даже лучшимъ представителямъ русской интеллигенція: «ахъ, отчего я не бревно!» издевался вноследствін Писаревъ. Людямъ шестидесятыхь и семидесятыхь годовь было вполнъ непонятно то трагическое міровоззрѣніе, которое въ самой жизни видъло почти силошное мъщанство. Мъщанство это не ограничивается рамками опредъленныхъ общественныхъ группъ, а получаетъ въ воззрѣніяхь Лермонтова общечеловѣческое и чуть ли не міровое значеніе; его Демонъ (въ редакціп 1831 года-«Азраиль») говорить даже, якобы съ завистью, о мъщанствъ ангеловъ, б-зстрастныхъ, спокойныхъ, уравновъщенныхъ, между которыми въроятно тоже «le ciseau du Maître a ôtè toute diffèrence» (см. II, 126); п, подобно Демону начала ХХ-го въка, нермонтовскій Демонъ могъ бы сказать про себя:

Я не хотёль бы жить въ Раю Межь тупоумцевь экстатическихъ... Мнё ненавистень быль бы Рай Среди тёней съ улыбкой кроткою, Гдё вёчный праздникъ, вёчный май Идеть размёренной походкою...

(Бальмонть, «Голосъ Дьявола»). Въ Лермонтовъ мы видимъ первые зачатки приданія мъщанству нуменальнаго смысла, и въ этомъ его связь отчасти съ Гоголемъ, а больше всего съ символистами конца XIX-го въка.

Конечно, Лермонтовъ не могъ удовлетвориться своими усивхами салоннаго льва; онъ любиль

Всѣ обольщенья свѣта, но не свѣтъ;

его всегда тянуло къ какой-то новой, инрокой, еще неизвъданной имъ жизни; онъ постоянно ждаль чегото, ему казалось, что снъ стоитъ на рубежъ новой, настоящей жизни:

Земл'я я отдаль дань земную Любви, надеждь, добра и вла. Начать готовь я жизнь другую... Молчу и жду...

Та жизнь, которую онъ велъ раньше, предстала предъ нимъ во всей своей мѣщанской неприглядности; всякая жизнь ап und für sich представлялась ему обыденной, безцвѣтной. Уже одно это неизбѣжно толкало поэта на путь истиннаго романтизма; вступить на этотъ путь ему было тѣмъ легче, что по самой своей природѣ Лермонтовъ несомнѣнно принадлежалъ къ тому романтическому типу людей, которыхъ давитъ земная дѣйствительность, которымъ тѣсно въ пространствѣ трехъ измѣреній и которые вѣчно влекутся «за предѣлы предѣльнаго, къ безднамъ свѣтлой безбрежности». Поднако Лермонтовъ не вступиль на этотъ путь...

VII.

По самой своей природѣ Лермонтовъ несомнѣнно быль религіознымъ романтикомъ, мистикомъ; онъ откровенно признается:

Моя душа, я помню, съ дѣтскихъ лѣтъ Чудеснаго искала...

Онъ твердо въритъ, что «иная есть страна» и что «понятье о небесномъ намъ дано»; онъ стремится прочь отъ реальнаго міра «за предълы предъльнаго» (ср. I, 3, 119, 214; II, 20, 111 и др.). Но, въ противоположность слащавому пістисту Жуковскому, онъ не переноситъ «за предълы предъльнаго» понятій и образовъ нашей земной дъйствительности, не надъется на то, что «въ знакомой и тайной странъ прошедшее намъ возвратится;» наоборотъ—

И смерть пришла: наступило за гробомъ свиданье, — Но въ мірѣ новомъ другъ друга они не узнали...

Нѣтъ необходимости подробнѣе останавливаться на этомъ пунктѣ воззрѣній и настроеній Лермонтова: это значило бы повторять всѣмъ уже давно извѣстное. Мистикъ въ душѣ, онъ не могъ ограничиться признаніемь одной только эмпирической личности человѣка; послѣдняя безъ духовной личности для Лермонтова—ничто: «c'est terrible quand on pense, qu'il peut arriver un jour où je ne pourrai pas dire: moi! A cette idèe l'univers n'est qu'un morceau de boue»... 1).

Если бы Лермонговь отдался безъ борьбы романтическимъ тяготъніямъ своей натуры, то онъ сдълался бы, въроятно, идеологомъ того философскаго романтизма, который мы встрътимъ въ нокольніи тридцатыхъ годовъ; но роковая судьба вложила въ сердце Лермонтову только безкрылое желанье и возстановила его разумъ противъ его сердца; «умъ съ сердцемъ не въ ладу» были не только у одного Чтцкаго, но и у цълаго ряда дъятелей той эпохи. Чувство тянуло Лермонтова къ романтизму, сложившееся же подъ вліяніемъ среды міровоззръніе заставляло поэта осмъйвать

И мистицизму...

Въ этомъ сказалось глубокое душевное га двоеніе поэта, еще болье усилившее пессими тичесьюе его настроеніе. Это раздоеніе, какъ осної кую свою черту, отмьтиль еще сань Лерментевъ (изир. въ «Геров нашего времени»); это раздвоеніе обратьно религіозный романтивмъ Лермонтова въ исогредьленный пантеизмъ; раздвоеніе это сказалось въ постановкъ вопроса о разумь и чувствъ (напр., пъ Думъ). Самъ страдая (пъ глубока о раздвоенія, поэть по

^{1) «}Ужасно полумать; что можеть притти день, когда я не смогу сказать: я! При расй имель вселенная ссть аме ь воста

могь не вадаться вопросомь о томъ, ведеть ли къ счастью человъка порабещение сердца умомъ, примать интеллекта надъ инстинктомъ? Въ отвъть на это мы слышимъ горькія рфчи о безплодной наукф, о язнахъ, гистъ и разврать просвъщенья (1, 7, 8, 20; П, 167; П, 63, 113; ІV, 37 п др.): какая разнича по сравненію съ гармоничнымъ и цъльнымъ Пинкинымъ! 1) Лермонтовъ начинаетъ собою новый періодъ въ развитіи русской интеллигенціи: заниманийе нго «проклятые вопросы», въ томъ или иномъ ихъ видопзміненіи, перекинулись черезъ людей сороковыхъ годовъ къ семидесятникамъ и далъе. Это не значить, что Герпень. Махайловскій или Достоевскій заимствовали у Лермонтова стоя иден, но значить, что у Лермонтова были въ зачаточномъ видъ иден и Достоевскаго, и Михайловскаго, и Герпена. Мы могли бы указать целый рядъ мотивовъ Лермонтова, разработанныхъ впоследствін представителями русской интеллигенцін (Конечно, мы говогимъ не о томь, что, напримъръ, въ нъскольких строкахъ стихотворенія «Не говори: однимъ высокимъ»... затронута тема «Преступленія и наказанія» Достоевскаго).

Вь раздвоеній Лермонтова— основная причина его пессимизма, но въ немъ же коренутся и его спаси-тельная любовь къ жизни: страдая отъ разрыва непосредственнаго чунства съ сознаніемъ, Лермонтовъ въ то же самое время всей силой своего непосредственнаго чувства былъ привязанъ къ той самой жизни, которую признаваль по существу мѣщанской. Онъ стремился «за предѣлы предѣльнаго» и въ то же время жадьо любиль все земное: въ этомъ несоединимомъ сочетаніи романтическихъ и реалисти-

¹⁾ Подробите объ этоми-въ нашей статьй «Поэзія душевнаго раздвоєнія» (въ книгъ «Пушкінь и Бълинскій», 1916 г.).

ческихь элементовь было много трагическаго, но въ немъ же заключалась и возможность лермонтовскаго оптимизма. Еще Бълинскій отмътиль у Лермонтова «безвъріе въ жизнь при жаждъ жизни»; жизнь ап und für sich Лермонтовъ считаетъ безнадежно мъщанской и поэтому тяготъетъ къ «небесному», но въ то же время, быть можеть, еще интенсивнъе Пушкина любить все «земное» проникновенной, глубокой любовью. Какъ типичный романтикъ Лермонтовъ

... силится купить страданіемъ своимъ И гордою поб'єдой надъ земнымъ Божественной души безбрежную свободу,

и въ то же время онъ всёми своими помыслами живеть на землё; «мнё милёй страданія земныя», подобно Фаусту, заявляеть нашь поэть: «люблю мученія земли»... (І, 105, 161).

Какъ землю намъ больше небесъ не любить? Намъ небесное счастье темно; Хоть счастье земное и меньше въ сто разъ, Но мы знаемъ, какое оно,—

еще болье рышительно заявляеть поэть вы другомы мысть. И такое раздвоение между «небомы» и «земией», сказывающееся еще вы дытскихы произведениямы Лермонтова, проходить черезы всю его поэзію; интересно вы этомы отношеніи одно изы самыхы первыхы стихотвореній Лермонтова, вы которомы оны проситы у Бога прощенія за то, что міры земной ему тысены:

Не обвиняй меня, Всесильный, И не карай меня, молю, За то, что мракъ земли могильный Съ ея страстями я люблю...

Эта любовь къ землъ озарила поэзію Лермонтова пантеизмомъ и привела поэта къ яркому признанію правъ человъческой личности на жизнь.

Пантеизмъ Лермонтова былъ компромиссомъ между его романтическими чувствами и реалисти-

ческими взілядами: онъ приближался къ мистицизму своимъ отказомъ ограничиться міромъ земной дѣйствительности («мертвая краса» «равнодушной природы»—вотъ эта дѣйствительность съ точки зрѣнія реалиста), и въ то же время пантеизмъ этотъ былъ въ высшей степени «земнымъ» чувствомъ. Характерно въ этомъ отношеніи одно изъ послѣднихъ стихотвореній Лермонтова, «Выхожу одинъ я на дорогу»: молчаливое вниманіе пустыни, тихій разговоръ звѣзды со звѣздой, сонъ земли въ сіяньи голубомъ—все это одновременно и отрываетъ поэта отъ земной обыденности, и привязываетъ его къ ней; онъ одновременно не ждетъ отъ жизни ничего, ищетъ забвенія, и въ то же время въ забвеніи жаждетъ жизни,—

Чтобъ въ груди дремали жизни силы, Чтобъ дыша вздымалась тихо грудь...

Здёсь налицо передъ нами то причудливое сочетаніе ненависти къ жизни (къ мѣщанской жизни!) съ жаждой жизни, которое такъ характерно для Лермонтова. Въ этой жаждъ жизни—вторая главная сторона творчества нашего поэта, неизбъжнымъ слѣдствіемъ которой является проникновенный индивидуализмъ, не такой гармоничный и цѣльный, какъ у Пушкина, но неизмѣримо болѣе рѣзкій и яркій.

VШ.

Жажда жизни, жажда неутолимая никакимъ удовлетвореніемъ, а потому и принимающая «романтическую» окраску; жажда жизни, приводящая къ полному разрыву со всёми узами, мёшающими человёку жить «во всю», а значить провозглашающая принципъ индивидуализма — все это было съ удивительной силой и рёзкостью высказано Лермонтовымъ въ одномъ изъ замѣчательнѣйшихъ произведеній всей русской лигературы XIX- о вѣка, въ «Мцыри», которое Лермонтовъ писаль, какъ и своего «Демона». въ теченіе всей своей жизни. Еще юношей, въ 1831 г., Лермонтовъ задумать написаль записьи монаха, томящатося въ монастырѣ (IV, 292); въ произведенихъ 30-хъ годовъ мы находимъ у него цѣлый рядэ попытокъ выпольить это намѣреніе («Пеловъдь», 1830 г.; «Бояринъ Орша», 1835 г. и др.); окончательная переработка всѣхъ этихъ этюдовъ дала русской литературъ «Мцыри» (1-40 г.). Тактиъ образомъ жельніе написать «апсвеозъ жизни» десять лѣтъ сопутствовало поэту, въ то время какъ ненависть къ жизни, какъ къ воплощенію мѣщанства, была его характернѣйшей чертой.

«Мцыри» — апсовозъ жизни, яркое выражене безумной любки къ ней апсовозъ личности, свергнувшей съ себя всв порабощавшія ее узы. Ничего подобато по силь не появляюсь тогда въ русской литературь; только «Шильопскій узникъ» Байрона, такъ удивительно переведенній Жуковскимъ за двадщать льть до «Мцыри», можеть считаться случейнымъ предшественникомъ этого един твеннаго въ своемъ родв произведенія, котогое мы хотьли бы переписать пьликомъ, вмѣсто того, чтобы указывать на его громадное значеніе въ исторіи развитія падивидуализма въ русск й литературь и жизни. Пантеизмъ Лермонтова и его безконечная жажды свабоды личности ярче и ръзче всего выск зались именно въ этомъ предсмертномъ его произведеніи.

Мы сказали уже, что Ле, монтоют быть глубокимъ пантенстомъ и примиряль этимъ свои романтические порывы съ реалистическимъ міров зарѣві-мъ. Онъ чувствоваль біеніе пульса природы, онъ чувствораль себя составной ен частью, участникомъ ен жизни. У Пушкина природа живеть жизнью человъка, и

только оттого безконечно велика и разнообразна, что отражаеть въ себъ человъческое чувство и человъческую мысль; у Лерионтова, наобороть, прпрода живеть своей собственной жизнью и не она сличается сь человъкомъ, а человъкъ сливается съ ней. У Лермонгова Бештау здобно взираетъ на русскихи; ръка, крутясь съ гордымъ бѣшенствомъ, не отвѣчаетъ улыбит неба; звъзды слушногъ поэта, радостно играя лучами; вы облакахъ кинатъ накныя страсти; тучка летить, пристирая крылья по вътру; природа, какъ беззаботное дитя, тъшится въчно-молодою жизнью (см. І, 66, 76; П, 165, 185, 210-1; см. еще І, 27; П, 17, 25, 45 и лр). И вы чувствуете, что все это не простай fic n d. parler, что природа для Легмонтовачудное, любимое существо, ради котораго онъ забудеть вев женскіе взгляды (ср. Ш. 75). Мцыриподобно всъмъ героямъ Лермонтова его alt r едовоплотиль въ себъ этотт пантегзмъ съ послъдней полносой, последней яркостью. Онъ порваль всв связи съ людеми. онъ ушель въ нивущую вѣчномолодой жизнью природу, онъ

.. вслушиваться сталъ
Къ волшебнымъ, страннымъ голосамъ;
Сни шевтались по кустамъ,
Какъ будто въчь свою вели
О тайнахъ неба и земли;
И всъ пријоды голоса
Сливались тутъ...

И на этомъ фонт пантеистическаго сліявія съ приредой вырисовывается та безпредтльная жажда жизни, которая только и можеть быть противопоставлена общивому, мінцанскому прозясанію. Три дня своей вольной, единокой жизни на груди природы Мцыри не проміняеть на ціты д-сятильтіл мирнаго житія:

> Такихъ двв жизни за одну, Но только полную тревсть, Я промъняль бы, если бъ могъ...

И эти три дня мощнаго апоэвоза его личности, три дня цёльной, широкой и яркой жизни осмысливають собой и всю короткую, темную и печальную жизнь Мцыри; недаромъ онъ говорить увъщевающему его монаху:

Ты хочешь знать, что дёлаль я На волё?—Жиль, и жизнь моя Безъ этихъ трехъ блаженныхъ дней Выла-бъ печальнёй и мрачиёй Безсильной старости теоей...

И, конечно, за Мпыри стоить самъ Лермонтовъ. Намъ неизвестно, имбиъ ли онъ въ своей жизни, подобно своему герою, хотя бы три «блаженныхъдня», но во всякомъ случав онъ сознавалъ ихъ полную возможность — и нечерезътриста льть, а немедленно, сейчась же, среди этой мъщанской по существу жизни. Быть можеть, неутелимость этой возможности прибавляла лишнюю каплю горечи къ лермонтовскому пессимизму, но во всякомъ случав неоспорныв его взглядь на жизнь, какъ на нъчто прекрасное, яркое и блаженное, хотя и обращенное людьми въ слакотное, строе мъщанство обыденности. Сквозь мрачные, пессимистические взгляды на окружающую жизнь, у Лермонтова иногда прорываются, какъ лучи свъта сквозь тучи, драгоценныя признанія о томъ, что онъ дорожить своею жизнью, какь неосуществленной возможностью дозтиженія яркаго, гармоничнаго существованія, какъ проявленіемъ своей личности, своего я. Въ откровенномъ и дружескомъ письмъ онъ пишеть о своей жизни: «je ne peurrai jamais m'en detacher assez pour la mepriser de bon coeur, car ma vie-c'est moi, moi qui vous parle...» 1) (IV, 259). Уже одно это признание показываеть, насколько глубоко правъ былъ Бълинскій, угадавшій въ молодомъ

^{1) «}Я никогда не смогу оторваться отъ нея настолько, чтобы отъ чистаго сердца презпрать ее, ибо жизнь моя—это я, я, говорящій вамь это...

Лермонтовъ (тогда еще авторъ только 20 — 30 напечатанныхъ стихотвореній) съмена глубокой въры въ достоинство жизни и личности.

Какъ бы то ни было, но Лермонтовъ стоялъ на распутьи двухъ дорогъ, или, втрите вистль, какъ гробъ Магомета, между зенитомъ и надиромъ. Съ одной стороны его влекло къ «небесному», съ другойонъ тяготълъ къ землъ: это первое его раздвоение. Второе, являющееся видонзмѣненіемъ перваго, было для Лермонтова еще трагичние, еще фатальние: онъ ненавидёль современную жизнь всёхь круговъ общества за ея сплошное мъщанство п въ то же время безумной любовью любиль эту же самую жизнь, провидя возможность ея разрыва съ мъщанствомъ не черезъ двъсти-триста лътъ (чъмъ впоследствін утешаль себя Чеховь), а сейчась, немедленно, для каждаго отдёльнаго человека. Въ чемъ же лежала возможность осуществленія этой мечты Лермонтова? Отвътъ не трудно предвидъть: во одиночествы, въ полномъ разрывъ съ мъщанскимъ обществомъ.

Въ одиночествъ Лермонтовъ видитъ единственное свое спасеніе, единственную возможность спастись отъ засасывающаго мъщанства окружающей жизни; и мотивы одиночества пріобрътаютъ у него ръзкую человъконенавистническую окраску:

Пускай меня обхватить цёлый адъ, Пусть буду мучиться,—я радъ, я радъ, Хотя бы вдвое противъ прошлыхъ дней, Но только дальше, дальше отъ людей!

И этоть мотивь одиночества, пустившій сперва ростокь на личной почев (что видно еще по дітскимь произведеніямь поэта, см., напр., IV, 97), чёмь дальше, тімь больше разростался вы могучее «антимыщанское» и индивидуалистическое настроеніе. Приблизительно вы это же время Пушкинь впервые

ярко фірмулироваль свой «эстетическій индивидуализмь», тр-буя оть поэта презранія къ мащенской толив и заявляя о его полномь одиночества: «ты царь—живи одина»; Лермонгова стоить на той же почва:

> Я самъ собою жиль донынѣ! Свободно мчится пьснь моя. Какъ птица дикая въ пустынѣ, Какъ вдаль по озеру ладья...

Но онъ ставитъ вопросъ гораздо шире Пушкина, ставить одиночество вы законъ не только поэту, но и вообще человъку, желающему порвать съ мъщанствомь. Такимъ образомъ, следствіемъ «антимъщан тва» Лермонтова авляется его яркій пидивидуализмъ; здъсь коренится причина его жаднаго интере а къ личности. Личностъ для Лермонтеваэто все; для него «исторія души человъческой, хогя бы самой мелкой души, едва ли не любо ытнъе и не полезнъе исторіи цълаго народа» (III, 46); и, по обыкновенію, правъ быль великій кригикъ земли русской, находившій «павось» поэзін Лермонтова «въ нравственныхъ вопросахъ о судьов и правахъ человъческой личности». Надо замътить только, что, задаваясь «правственными вопросами» о судьбахъ личности, Лермонтовъ въ то же время еще не дешелъ до принциповъ этическаго индивидуализма и въ этомъ опять одна изъ нитей его раздвоенія. Бывають, конечно, случаи, когда соціологическій индивидуализмъ заполняеть есю ширь міровоззрінія того или иного писателя, выто время какъ этическій индивидуализмъ оставляется имъ въ тъпи; бывшесть и обратно случаи, когда этическій индимидуализыв проникаеть до глубины міровозаржнія ченовава, оставляя с ціологическій на заднемъ плант: мы увидимъ впоследстви, что вы семидесятыхъ підплъ XIX-го въка яркимъ примъромъ перваго остав Михайловскій, а яркимъ примёромъ второго—Толстой и Достоевскій. Вь Лермонтовъ же и въ этомъ случав было раздкоеніе: онь требогаль для человъва полной свободы отъ всёхъ стягивающихъ его путъ, но въ то же время не могъ отделаться отъ навязчивой иден, что человъкъ есть только средство. Далекій отъ негодующ го индивидуализма Пвана Карамазова, который возмушался при одной мысли быть только средствомъ, «унавозить кому-то будущую гармонію», Лермонтовъ какъ разъ останавливается именно на этой мысли:

Теперь я вижу: пышный свёть Не для людей быль отворент; Мы стибнемь, нашь сотрется слёдь, Таковь ваконь... Нашь прахь лишь землю умягчить Другимь, честьйшимь существамь.

Принципъ «самоцѣльности человѣка» былъ соверчуждъ понятіямъ Л. рм нтова; неумдрено Ш⊧нно поэтому, что поэть такъ часто становился въ жгучія противорѣчія симъ съ собою по вопросу о личности человъка. Иногда онъ чуть не обожествляеть человъка, иногда отиссится къ вему чуть не съ преэркніемъ (II, 290), наогда высказываеть высокое «гуманическое» чувство, иногда заявляеть: «я превираю жизнь другихъ» (I.218) — и весь этоть клубокъ противорьчий имьеть причиной раздвоение Лермонтова, и ясно распутывается по двумъ нитамъ: по соціо. логическому пидавидуализму поэта и по его этическому анти-падивидуализму (XOTS выражень и не особенно ясно).

IX.

Итакъ, мотивъ одиночества выразился у Лермонтова въ его резкомъ противоноставлении общества

и личности. Понималь ли поэть, по чему въ концъ концовъ можетъ привести дальнъйшая разработка этого мотива? Чувствоваль ли онь, что крайній соціологическій индивидуализмъ приводить насъ въ мертвый тупикъ, изъ котораго нътъ никакого выхода? Эту истину, особенно яспо сознанную покольніемъ Лермонтовъ чувствовалъ п конца XIX-го въка, видъль передъ собой съ неотразимой очевидностью, и въ этомъ случат онъ связанъ тъсными идейными нитями съ теченіемъ художественной мысли начала ХХ-го стольтія (напр., съ Л. Андреевымъ). Весь непередаваемый ужась одиночества Лермонтовъ ощущаль какъ нельзя более ясно; «ужасно старикомъ быть безь сёдинь» -- восклицаеть поэть и вкладываетъ въ уста Демона такое признаніе:

> О, еслибъ ты могла понять. Кажое горькое томленье Всю жизнь, вѣка безъ раздѣленья И наслаждаться и страдать... Жить для себя, скучать собой И этой вѣчною борьбой Безъ торжества, безъ примиренья!..

И эта идея ужаса одиночества какъ кошмаръ преслъдовала Лермонтова всю жизнь; одно изъ его нослъднихъ стихотвореній посвящено в е этой же мысли: на порогъ смерти Лермонтовъ тосковалъ въ своемъ одиночествъ, разсказывая о томъ, какъ «дубовый листокъ оторвался отъ вътки родимой» и нигдъ не ногъ найти пріюта въ своемъ тоскливомъ одиночествъ:

Одинъ и безъ цѣли ношуся по свѣту давно я. Засохъ я безъ тѣни, урялъ я безъ сна и покоя...

Въ этомъ одиночествъ и таплась гибель Лермонтова; въ этой гибели и заключалась кара за его дерзкій разрывъ съ мъщанствомъ. Повторилась исторія Тазита, съ той только разницей, что не

общество изгнало непокорнаго члена, а самъ онъ ръзко разорвалъ всякія связи съ обществомъ; участь его отъ этого однако не стала легче. Онъ тоже погибъ, хотя погибъ еще менње побъжденнымъ, чёмъ Пушкинъ; но ивщанство все-таки торжествовало: оно не видъло, что одержало еще одну пиррову побъду, не видъло, что именно Лермонтовъ внесъ въ сознание русской интеллигенціи тотъ ферменть разложенія, отъ котораго должно въ далекомъ будущемъ погибнуть мѣщанство. Правда, мысль Лермонтова (о мъщанствъ самой жизни, а не той или иной общественной группы) была настолько нова, что только черезъ полъ-въка послъ его гибели снова возродилась у Чехова; но все-таки она сдълала свое дъло. И для нашего поколънія Лермонтовъ, быть можеть, самый современный поэть; мы чувствуемъ нити, которыя связывають его съ нами и которыя мы старались распутать на предыдущихъ страницахъ.

Намъ осталось теперь подвести итоги, выяснить взаимоотношение Пушкина и Лермонтова и ихъ значение въ истории пидивидуализма въ русской литературъ и жизни.

Пушкинъ и Лермонтовъ—это двѣ стороны одной и той же медали, знаменующія собою высшую точку волны индивидуализма въ русской художественной литературѣ первой половины XIX-го вѣка; оба они двумя діаметрально противоположными путями пришли къ одной и той же цѣли. Пушкинъ шелъ отъ признанія правъ личности, отъ индивидуализма, къ борьбѣ съ этическимъ мѣщанствомъ; Лермонтовъ отъ признанія мѣщанства жизни самой по себѣ пришелъ къ яркому признанію правъ личности: разными путями они сошлись на ненависти къ мѣщанству и на провозглашеніи принципа эстетическаго и соціологическаго индивидуализма. Въ этой поляр-

ности Пушкина и Лермонтова — главная сторона ихъ взаимоотношенія.

Однако полярность Пушкина и Лермонтова идетъ глубже тъхъ путей, которыми шло построение ихъ воззрвній: мы уже видели, что полярность эта нисходить до последнихь глубинь духовной сущности обонхъ поэтовъ. Пушкинъ-пркій и цільный представитель реалистическаго типа, никогда не чувствовавшій стремленій и порывовь за предѣлы предѣльнаго; Лермонтовъ-не менъе характерный представитель раздвоенности типовъ реалистическаго и романтическаго; кристальная, эллински-гармоничная личность Пушкина является полярной противоположностью раздвоенной личности типичнаго «іудея» — Лермонтова. Критеріемъ и мъриломъ всего окружающаго для Пушкина является человъческая личность, для Лермонтова же личность эта только на груди великаго духа природы получаетъ свое объясненіе. У Пушкина природа живеть жизнью человъка, сливается съ нимъ; у Лермонтова природа живеть своей собственной жизнью, съ которой сливается и жизнь человѣка. Пушкинъ-цѣльность, единство, гармонія; Лермонтовъ — раздвоенность, раздробленность, непримиримость противоръчій. Пушкинъ-геніальное завершеніе стараго и высшее воплощение реалистического типа; Лермонтовъгеніальное начало новаго, котя только проблесками, намеками (новое иначе выражаться и не можеть). Тургеневъ, Л. Толстой — вотъ главнъйшие наслъдники Пушкина; Достоевскій, Чеховь и современные художники мысли и слова — воть духовныя дъти Лермонтова.

Но какова бы ни была полярность нашихь двухь величайшихь поэтовь, ихь тесная, неразрывная связь всегда будеть заключаться вь томъ, что оба они знаменують собою гребень волны индивидуализма въ

русской художественной литературь. Выше ихь въ выставлени репльной личности и провозглашени ся правъ не пошель никто, равно какъ никто не пошель дальше ихъ въ отрицательномъ отношени къ мъщанству и въ борьбъ съ нимъ. Мы видъли, что Пушкинъ черезъ индивидуализмъ пришелъ къ антимъщанству, а Лермонтовъ отъ анти-мъщанства поднялся къ индивидуализму; но такимъ образомъ въ результатъ они оказались стоящими у одной цъли,

несмотря на полярность своихъ путей.

Оба они трагически погибли въ борьбъ съ мъщанствомъ, принужденные уйти въ гнетущее одиночество, невыносимое для живого человъка. Ихъ индивидуализмъ достигъ своего высшаго напряженія какъ разъ въ ту эпоху, когда полное подавленіе индивидуальности было основнымъ пунктомъ государственной системы; ихъ ръзкое анти-мъщанство достигло своего апогея какъ разъ въ эпоху оффиціальнаго мъщанства. И оба они погибли въ своемъ одиночествъ; погибли, потому что были одинокими представителями разгромленной русской интеллигенціи; погибли, нотому что не имъли корией въ той зарождающейся интеллигенціи тридцатыхъ годовъ, которой принадлежало будущее.

Эпоха оффиціальнаго мъщанства.

(1825—1855 r.).

I.

Русская интеллигенція двадцатыхъ годовъ была разгромлена; «нъжный ростокъ русской гражданственности» быль вырвань съ корнемь. На нивъ русской интеллигенціи остались только отдёльные колосья; остались, какъ послъ бурелома въ лъсу, только одинокія, сиротливо стоящія деревья, обреченныя гибели. Такъ въ одиночествъ погибли одинъ за другимъ Пушкинь и Лермонтовь въ борьбъ съ окружающимъ духовнымъ мъщанствомъ. Но живыя силы проснувшейся страны-неисчерпаемы: на смъну погибшей интеллигенцій двадцатыхъ годовъ пришло новое покольніе, и съ интеллигенціи тридцатыхъ годовъ начинается новая эра русской мысли и русской жизни. Творчество этой интеллигенцін заполнило собсю содержаніе русской культуры второй четверти XIX-го въка, и это, быть можеть, однъ изъ самыхъ блестящихъ страницъ въ глубоко-трагической исторіи русской интеллигенціи.

Прежде чёмъ приняться за чтеніе этихъ страинцъ, намъ надо ближе познакомиться съ тёмъ факторомъ, который послужиль причиной гибели предшествующаго поколёнія пнтеллигеннін, который способствоваль гибели и Пушкина и Л-рмонтова. Намъ надо познакомиться съ тёмъ бюрократическимо миьщанствомъ, которое служило почвой мъщанству духовному и царило въ русской государственной и общественной жизни во всю николаевскую эпоху.

Главной чертой, характеризующей положение русской жизни второй четверти XIX-го въка, была извъстная теорія, удачно названная Пыпинымъ «теоріей оффиціальной народности». Теорія эта подъ флагомъ «самодержавія, православія и народности» провозила контрабандой совершенно другія понятія полное подавление личности, провозглашение безпредъльной власти государства, и именно Россін, такой, какъ она сложилась къ началу эпохи оффиціальной народности; знаменитое изречение Бенкендорфа можеть служить лучшимъ эпиграфомъ ко всей этой reopin: «le passè de la Russie a été admirable; son present est plus que magnifique; quant a son aveniril est au delà de tout, ce que l'imagination la plus hardie se peut figurer» 1). Эгимъ было фиксировано и безпощадно закрѣплено все существующее; прогрессъ объявлялся ненужнымъ и могъ заключаться развѣ только въ частныхъ поправкахъ и улучшеніяхь; могуть улучшаться и совершенствоваться люди, исправляясь отъ вольнодумства и легкомыслія, для чего надъ ними устанавливается строгая дисциплина воспитанія, цензуры, оффиціальнаго шпіонства. Русскій народъ признается стоящимъ внѣ всякихъ мѣрокъ и масштабовъ для сравненія его съ народами Западной Европы; европейскія добродѣтели для насъ пороки и обратно; высшая и національная наша добродътель-покорность, смиреніе, отсутствіе личности, безпрекословное подчинение. Индивидуальность должна быть подавлена, просвъщение должно приниматься въ мъру: гораздо выше просвъщенія, инди-

^{1) «}Прошлое Россіи— изумительно, настоящее—болъе чъмъ великольно, что же касается ея будущаго—оно далеко за препълами самаго смълаго воображения».

видуальности, даже генія, стонть добрая нравственность, усердіе и покорность, какъ это мы узнаемъ ниже.

Подробнъе познакомившись съ этой теоріей оффиціальной народности, мы убъждаемся, что въ основаній ея лежить крайній этическій и соціолопическій анти-индивидуализмъ; реальная личность признается средствомъ и только средствомъ, и, подавляя человъческую индивидуальность, теорія эта, никъмъ на то не призванная, выдвигаеть на первый планъ пидивидуальность народа. Надо однако замътить, что, подавляя личность, эта теорія отнюдь не приносить пользы и «абстрактному человъку»: эта государственная, бюрократическая теорія съ одинаковой ненавистью относится и къ личнести и къ обществу, н къ реальной индивидуальности, и къ Человъку съ большой буквы. Человъка и гражданина эта теорія стремилась обуздать, особенно послъ 14-го декабря 1825 года; вслъдствіе этого и каждой отдъльной личности предписано было дышать и думать только такъ, какъ это указано цпркулярно. Для теоріи оффиціальной народности характерно сугубо мѣщанское стремление поставить всёхъ въ одну шеренгу, выкрасить въ общій стрый цветь, обстричь подъ одинаковый уровень; пеэтому для теорін этой не столько характеренъ ея ръзкій анти-индивидуализмъ, сколько узкое и плоское мъщанство. Основываясь на этомъ и слегка перефразируя название теоріи оффиціальной народности, мы булемъ говорить о теоріи, системь и эпохи оффиціальнаго минцинства.

Іоанномъ Предтечей системы оффиціальнаго мъщанства быль несомитино Павель I, о которомъ однако намъ незачемъ распространяться; его върнымъ приситиникомъ и усерднымъ помощникомъ быль Аракчеевъ, создавшій въ 20-хъ годахъ великолтиный прологъ къ наступившей заттиь эпохъ. Этоть Аракчеевъ, любившій, «чтобы всякая штука (будь то даже реальная личность) была смфрена, взвъшена, припечатана казенною или его собственною гербовою печатью, поставлена въ шеренгу, и чтобы подъ всякимъ львомъ было четкою писарскою рукою подписано: се левъ, а не собака»-какъ его мътко характеризуетъ Михайловскій, - этотъ Аракчеевъ въ небольшомъ районъ, ввъренномъ его руководительству, свершиль то, что во второй четверти XIX вѣка было свершено надъ всей Россіей въ ея цъломъ. Великолъпный очеркъ изъ «Исторіи одного города» Салтыкова ярче характеризуеть Аракчеева (Угрюмъ-Бурчеевъ). чёмъ цёлые тома историческихъ изследованій. По независящимъ отъ него условіямъ историкъ долженъ быль умолчать о временахъ поаракчеевскихъ и ограничился только упоминаніемъ о преемникъ Угрюмъ-Бурчеева, мајоръ Перехватъ-Залихватскомъ, то-есть объ императоръ Николаъ I, который «въбхаль въ Глуповъ на бъломъ конъ, сжегъ гимназію и упраздниль науки». «О семь умолчу» кратко замъчаетъ историкъ. Умолчимъ о семъ и мы, но съ тъмъ большей подробностью остановимся на самой системъ.

II.

Для характеристики этой системы приведемъ прежде всего нъсколько примъровъ и иллюстрацій, отчасти новыхъ, отчасти отмъченныхъ раньше.

Въ концъ 1826 г. стяжавшій печальную извъстность Бенкендорфъ обращается къ Пушкину, сообщая, что «Его Императорскому Величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметами о воспитаніи юно-шества» (30 сент. 1826 г.). Пушкинь—и теорія педагогики! Общаго мало, но въ то время—время зарожденія теоріи оффиціальнаго мъщанства—начали

проводить въ жизнь начало обезличенія; воспринявшій и усвоившій эту теорію писатель Кукольникъ съ гордостью восклицаеть: «прикажуть-и завтра же буду акушеромь!» («Записки» М. Глинки). Въ своихъ безсмертныхъ «Помпадурахъ и помпадуршахъ» чиновникъ особыхъ порученій Щедринъ такъ варьпруетъ эту же тему: «сдълайте меня губернаторомъ - я буду губернаторомъ; сдълайте цензоромъ-я буду цензоромъ... Всъмъ быть могу; могу даже быть командиромъ фрегата «Паллада», и если Богъ мет поможеть, то, чего добраго, выиграю морское сраженіе»... И это далеко не шаржъ. Такимъ образомъ и Пушкинъ по преказанію начальства долженъ быль сдълаться педагогомъ. Онъ написаль тогда записку «О народномъ воспитаніи» — насквозь проникнутую благонамъреннымъ духомъ; весьма интересна резолюція, положенная на нее, и отвътъ Бенкендорфа Пушкину: «принятое вами правило, будто бы просвъщение и геній служать исключительнымь основаніемь совершенству, есть правило опасное для общаго спокойствія... Нравственность, прилежное служеніе, усердіе предпочесть должно»... Воть начала, на которыхъ стала строиться теорія оффиціальнаго мѣшанства: геній, индивидуальность полишни; одно усердіе все превозмогаетъ.

Понятно само собой, какъ высоко могла стоять наука въ то время, когда усердіе предпочиталесь просвъщенію. Въ началь 30-хъ годовъ попечитель Московскаго университета (Голицынъ) «долго не могъ привыкнуть къ тому безпорядку, что когда профессорь боленъ, то и лекціи нътъ; онъ думаль, что слъдующій поочереди долженъ быль его замънять, такъ что о. Терновскому пришлось бы иной разъчитать въ клиникъ о женскихъ бользаяхъ, а акушеру Рахтеру — толковать безсъменное зачатіе» (Герценъ; «Былое и думы», Лондонъ 1861 г., т. І, 134).

Конечно, до этого дело не доходило, но интересна уже и самая тенденція государственнаго мужа насадить своеобразный «порядокъ» въ ввъренномъ его попеченію университеть. Пъть ничего удивительнаго, что нъкоторые профессора были достойны своего попечителя; такъ, тотъ же Герценъ разсказываеть о нъкоемъ профессоръ мпнералогіи Ловецкомъ, который разъ навсегда создалъ (очевлдно для «порядка») формулярные списки всъхъ минераловъ по одному и тому же шаблону, такъ что «характеристика иныхъ опредълялась отрицательно: кристаллизація — не кристаллизуется; употребление — никуда не употребляется» (lbid.; I, 163). Такая наука недалеко ушла отъ губериской статистики той же эпохи (середина 30-хъ годовь) и знаменитых сообщеній изь города Кая: «утопшихъ-2; причины утопленія неизвъстны-2; итого-4», или подъ рубрикой о нравственности городскихъ жителей: «жидовъ въ городъ Каъ не находилось» (lbid; I, 328). Несмотря на такія заполненія статистическихь таблиць, все таки порядокъ быль соблюдень, форма торжествовала; стоило ли заботиться о содержания?

Начиная съ 1826-го года, государственная очека надъ пидивидулавностью принимаетъ регулярный характеръ, безъ всякихъ послабленій и упущеній. И до того часто было трудно дышать, гоненія живой мысли разными Красовскими, Фотіями и Голицыными достигали часто крайняго предѣла; но тогда все это было чуть-ли не случайнымъ, по крайней мѣрѣ не было возведено въ систему; тогда могъ существовать почти конституціонный «Духъ журналовъ» (до 1819 г.) вибстѣ съ гоненіемъ на невиннѣйшіе стишонки какого-нибудь Олина. Теперь дѣло мѣняется. Дѣлаются нѣкоторыя частныя облегченія—такъ, напримѣръ, «чугунный» цензурный уставъ 1826 г. (выработанный Шишковымъ) замѣняется болѣе мяг-

кимъ уставомъ 1828 года; но зато теперь уже не будеть никакихъ упущеній и послабленій, давленіе будеть производиться во всёхъ областяхъ регулярно и неукоснительно; оно распространится на частную жизнь всёхъ и каждаго. Все, рёшительно все будетъ урегулировано, занумеровано, одёто въ узкій мундиръ, подчинено опредёленному общему шаблону, убивающему всякое проявленіе индивидуальности.

«Мундиръ, одинъ мундиръ!» — это можно поставить эпиграфомъ къ теоріп оффиціальнаго мѣщанства и въ буквальномъ и въ переносномъ сиыслъ, потому что действительно только одна бюрократія и военщина считалась достойной образованнаго человъка, только въ государственной службъ была истина: мундиръ стягивалъ все, всему была предписана своя форма. Мелкій, но характерный факть: тъ немногія лица, которыя почему-либо не удостоились чести носить мундира, придумывали штатское совершенно одинаковаго образца, такъ что, по словамъ Герцена, «если бы показать эти батальоны одинаковыхъ сюртуковъ, плотно застегнутыхъ, щеголей на Невскомъ проспектъ, англичанинъ принялъ бы ихъ за отрядъ полисменовъ». Мундиръ и однообразіе-это страсть мъщанства у власти, - прибавляеть къ этому Герцень; неудивительно поэтому, что на мундиръ, погончики и петлички обращалось такое усиленное вниманіе; понятно, что вопросъ этоть рышался путемь циркуляровь, докладовь и канцелярской переписки. Тотъ же Герценъ разсказываеть про одинъ циркуляръ министра юстицін, который начинался какъ-то величаво и торжественно: «обративъ въ особенности вниманіе на недостатокъ единства въ шитъъ и покроб нъкоторыхъ мундировъ гражданскаго въдомства, и взявъ въ основаніе...» н т. д., и т. д. Конечно, все это мелочи; но въ нихъ

какъ нельзя лучше отразился весь духъ системы

оффиціальнаго м'вщанства:

Мы уже указывали, что давление свыше производилось неукоснительно и безъ послабленій по всей линіи науки, литературы, жизни. Нельзя сказать, чтобы въ 40-хъ годахъ это давление было сильнъе, чёмъ въ концё 20-хънли въ 30-хъ годахъ; оно было довольно равномърно — и въ этомъ заключалась его страшная тяжесть: оно не становилось сильнее, но это отнимало всякую надежду на то, что въ ближайшемъ будущемъ оно можетъ стать легче. На протяжении почти четверти въка (1825-1848)-все то же давленіе, все тоть же гнеть надъ индивидуальностью, все та же опека. Въ самомъ началъ эры этой системы оффиціальнаго м'єщанства Пушкину приказывають сделаться педагогомъ; въ томъ же 1826 году императорь Николай дълаеть следующее замъчание на экземпляръ «Бориса Годунова»: «Я считаю, что цъль г. Пушкина была бы выполнена, если бы съ нужнымъ очищениемъ передълалъ комедию свою въ историческую повъсть или романъ на подобіе Вальтеръ-Скотта». Пушкинъ отказался передълывать написанное. По поводу этого же произведенія высказало свое компетентное мнѣніе пресловутое «Ш Отдѣленіе», находившее, что «въ пьесѣ нѣтъ ничего цълаго», что все взято у Карамзина (Сухомлиновъ, «Изследованія и статьи», т. П). Ш Отделеніе въ роли ценителя, судьи и опекуна величайшаго изъ русскихъ поэтовъ! Та же опека, то же давленіе и нъсколько лътъ спустя: въ серединъ 30-хъ годовъ правительство издаеть «цёлый томъ церковныхъ фасадъ, высочайше утвержденныхъ». Это все тотъ же «мундиръ», о которомъ шла ръчь выше; надо было все сравнять, сгладить, отнять всякую личную иниціативу, надо было, какъ говорить Герценъ, «вездѣ и во всемъ убить всякій духъ независимости, личности, фантазіи, воли...» То же самое и въ сороковые годы. Въ 1841 г. при Академіи Наукъ учреждается печальной памяти Второе Отдёленіе Русскаго Языка и Словесности, съ ординарными академиками Давыдовымъ, Языковымъ, Погодинымъ, митр. Филаретомъ и т. п. Прирожденные клевреты (ихъ тогда уже сформировала система) радовались, что «благодётельное Правительство... возстановило о леку надъ угнетеннымъ русскимъ словомъ»... Въ сущности запоздалая радость, такъ какъ благодётельное правительство учредило эту опеку еще въ цензурномъ уставъ 1826 и 1828 г., устанавливая статью о запрещени книгъ за дурной съ точки зрѣнія цензора слогъ. Такъ велика была забота объ интересахъ читающей публики!

Полновластно и последовательно царила эта система цёлую четверть вёка, неукоснительно стушевывая всё рёзкіе цвёта, сглаживая всё индивидуальности подъ одинъ общій шаблонъ. Насколько удалось сдёлать это систем оффиціальнаго мёщанства, мы увидимъ ниже; теперь же обратимся къ точкё перелома—къ 1848 году, съ которымъ наступили на Руси пятидесятые годы. Настало тяжелое семилётіе, но начало его было началомъ конца всей системы. Давленіе сразу и внезанно усилилось настолько, что, очевидно, не могло продолжаться слишкомъ долго; въ безпросвётномъ мракъ чувствовалось приближеніе свёта, но чтобы дождаться его, надо было пережить семь черныхъ, тяжелыхъ лётъ.

Ш.

Февральская революція 1848 года, потрясшая всю Европу, огразилась и въ Россіи—усугубленіемъ системы оффиціальнаго мъщанства. «Неистовый Вис-

саріонь», пылкій и весь отдающійся любимой идев, умираль въ началъ 1848 года, съ върою устремивъ взоры на Западъ; а въ Россіо въ это время начинался террорь системы. Въ сущности террорь этотъ быль глубоко безполезень и совершенно излишень для самой системы, такъ какъ Россія была въ полнъйшей безопасности отъ зараженія «дерзкими и буйственными мудрованіями»; небольшая группа интеллигенціи, въ родъ кружка петрашевцевь, была настолько безопасна для правительства, что жестокое преслъдование этой группы явилось тоже однимъ изъ безцѣльныхъ проявленій террора эпохи оффиціальнаго мъщанства. Въ Россіи все обстояло благополучно; это подтвердиль торжественный манифесть оть 14-го марта 1848 года. Но въ то же время были приняты всв мъры, чтобы немедленно оградиться китайской стфной отъ Запада; 11-го марта 1848 года циркуляръ - Министерства Народнаго Просвъщенія предписалъ «пріостановленіе отпусковъ и командировокъ въ чужіе крап» (Сборникъ циркуляровъ; дъло № 100. 876); недълю спустя издается циркуляръ «объ усугубленіп надзора по воспитанію въ учебныхъ заведеніяхъ» (пиркуляръ отъ 19 марта 1848 г.; дъло MM 98.004 и 100.879). Начинается рядъ цирку. ляровь, предупреждающихь, пресъкающихь и сокращающихъ; мы остановимся на нихъ теперь, чтобы потомъ не возвращаться къ этому предмету; циркуляры эти имфють большой интересь для характеристики эпохи оффиціальнаго мъщанства.

Укажемъ безъ особыхъ комментаріевъ на небольшіе циркуляры «о наймѣ трехъ педелей для надзора за вольноприходящими учениками Кіевской 2-й гимназіи» (циркуляръ отъ 2 ноября 1849 г.): это уже система оффиціально регламентированнаго шпіонства частной жизни россійскихъ гражданъ. Циркуляръ отъ 31 августа 1850 г. (дѣло № 103.927) «объ усиленіи надзора за студентами Московскаго Университета изъ кавказскихъ уроженцевъ»; почему-то кавказскіе уроженцы оказались особенно опасными. Интересенъ далће циркуляръ отъ 6 февраля 1852 года: «инструкція Надзирателю за воспитанивками Харьковскаго Ветеринарнаго Училища». Надзиратель этотъ между прочимъ долженъ смотръть, чтобы всъ студенты (къ слову сказать -- «вольноприходящіе») ходили въ воскресные и табельные дни «въ церковь имъ назначенную, а не другую» (пунктъ 5-й); надзиратель обязанъ посъщать «сколь возможно чаще» квартиры студентовъ, наблюдая, чтобы студенты «занимались предметами, относящимися къ ихъ наукѣ», чтобы опи «не дѣлали расходовъ, превышающихъ ихъ денежныя средства», чтобы не ходили другъ къ другу въ гости-празвъ только для совмъстнаго повторенія лекцій, и то не болье трехъ (пункть 8-й) Такая регламентація исключительна даже для эпохи оффиціальнаго мъщанства. Но всетаки, познакомившись съ нею, мы вполнъ можемъ понять, какимъ образомъ въ это же время чиновникъ особыхъ порученій при министерствъ внутреннихъ дълъ Липранди могъ составить проектъ «академін шпіонства»... Тотъ же Липранди въ 1850 г. предлагаль свои услуги для обыска всёхь частныхь библіотекь по всей Россіп (!!). Сообщающій этоть факть Анненковъ прибавляеть, что само нравительство «съ ужасомъ и негодованіемъ» отклонило это предложеніе (Анненковъ, «Литературныя восноминанія», стр. 515). Ужасъ и негодование прибавлены, конечно, для красоты слога, такъ какъ достаточно ознакомиться съ произведеннымъ въ извлечении циркуляромъ отъ 6 февр. 1852 г., чтобы убъдиться въ большомъ сходствъ мъръ, предлагавшихся Липранди и принимавшихся въ дъйствительности. Этотъ «ужасъ и негодованіе» становятся особенно шикантными, когда мы узнаемъ, что, вопреки свъдъніямъ Анненкова, Липранди дъйствительно быль посланъ въ 1851 году для обыска частныхъ библіотекъ и книжныхъ лавокъ (см. Барсуковъ, «Жизнь и труды Погодина», т. XV,

crp. 196).

Ограничиваемся этими примърами, но замътимъ еще разъ кстати, что рядъ циркуляровъ 1848—1855 годовъ нельзя считать следствіемъ однихъ только событій 1848 года. Событія этого года дали поводъ къ чрезмърному усиленію давно примъняемой системы, полно и красноръчиво выразившейся уже въ знаменитомъ циркуляръ отъ 30 мая 1847 года, этомъ ясномъ манифестъ началъ оффиціальной народности. Чтобы покончить съ характерными циркулярами М-ва Нар. Просвъщенія, мы укажемъ на циркулярь отъ 30-го іюня 1854 г., интересный для нагляднаго пониманія той безконечной опеки, которая выразилась вь колоссальной централизаціи, ярко проявившейся въ эпоху оффиціальнаго мъщанства; циркуляръ этотъ разр‡шаетъ священнику въ Якутскомо уподномо училищь объяснять ученикамъ церковныя службы — «разъ въ недѣлю», предусмотрительно добавляетъ циркуляръ! Такой регламентаціи, такого отсутствія самодъятельности въ Россіи не бывало со временъ царствованія императора Павла І-го. Результать очевиденъ: полное подавление иниціативы, индивидуальности и пышный расцвътъ бюрократизма, канцелярщины, бумагопроизводства.

Все тонуло подъ грудой входящихъ и исходящихъ, сообщеній, донесеній и циркуляровъ; наконецъ само правительство почувствовало это: нельзя не отмътить попытки сокращенія дѣлопроизводства. Конечно, дѣло окончилось ничѣмъ: единственнымъ средствомъ сокращенія переписки было бы установленіе и расширеніе общественной самодѣятельности въ опредѣленныхъ вопросахъ областей, провинцій, губерній и уѣз-

довъ. Но это средство было бы самоубійствомъ всей системы оффиціальнаго мъщанства; поэтому начали изыскиваться «мъры къ сокращенію излишней переписки» (пиркуляръ отъ 13-го сент. 1851 г.); вопросъ о сокращении дълопроизводства началъ осматриваться особымъ «учрежденнымъ для того Комитетомъ» (цирк. отъ 24 мая 1851 г.), который нашелл главную мфру, выразившуюся въ особомъ законъ «о введеніп печатныхъ бланковъ для однообразной переписки» (цирк. оть 21 авг. 1851 г.). Мера эта, такъ родственная духу системы оффиціальнаго мъщанства, конечно, не помогла — и снова началась громаднъйшая переписка о сокращении переписки: достаточно сказать, что съ мая 1851 г. по декабрь 1852 г. однихъ циркулярныхъ предложеній было 20! 1). И это только въ одномъ М.въ Нар. Просвъщенія! Прибавьте къ этому приблизительно по стольк уже въ каждомъ изъ другихъ министерствъ, а кромъ того въ Кавказскомъ намъстничествъ (см. «Высочайшій указъ» 8 января 1849 г., №№ 22900, 23448 и т. д, и т. д.): Интереснымь позднъйшимъ отзвукомъ этого бумажнаго потопа и вообще всего делопроизводства была небольшая анонимная брошюрка «Руководство къ наглядному изученію административнаго порядка теченія бумагь вь Россіи», изданная въ 1858 г. и немедленно изъятая изъ продажи; рецензія Добролюбова доставила этой брошюрк в громадную извъстность (см. «Современникъ» 1859 г., № 4).

Изученіе циркуляровь нѣсколько вырисовываеть общій характерь эпохи оффиціальнаго мѣщанства; она станеть для нась еще яснѣе, если мы обратимся къ исторіи цензуры той эпохи. Весьма часто и раньше

т) Циркуляры отъ 11, 12, 13, 17 (два), -24 (два) мая, 14, 17 іюня; 20 (три) іюля; 21 авг.; 13 сент.; 22 окт. 1851 г.; 25 февр.; 11 іюня; 22 дек. 1852 г., да еще "Положеніе о сокращенін", утвержденное 28 янв. 1852 г.

цензурный гнеть доходиль до степеней малов фроятныхь, особенно во время quasi-мистическаго обскурантизма Голицына, который

Въ угодность Господу, себъ во утъшенье Усердно заглушить старался просвъщенье...

Но въ тъ времена тупой аракчеевщины многое зависъло отъ личности цензора, и въ то время какъ какой-нибудь Красовскій, обязанный безсмертіемъ Пушкину, запрещалъ писать о «небесной» красотъ, «Духъ журналовъ» цёлыя пять лёть (1815—1820 г.) невозбранно, на глазахъ у всёхъ проповёдывалъ констигуціонализмъ... Теперь дало маняется: личность цензора отходить на второй плань, первое мъсто завсеподавляющая система. Мы не будемъ нимаеть останавливаться на крайне интересныхъ фактахъ изъ исторія цензуры 1825—1855 гг.; общирныя залежи ихъ читатель найдеть въ «Дневникъ» Никитенко, въ воспоминаніяхъ и перепискъ литературныхъ дъятелей той эпохи. Общая тенденція отношенія къ литературъ системы оффиціального мъщанства достаточно ясно выражается въ пожеланіи графа Уварова, министра народнаго просвъщенія (!), счтобы, наконецъ, русская литература прекратилась»... (1843). И дъйствительно,

...ужъ коли вло пресѣчь,

Правда, до этого дёло еще не дошло, но все-таки недаромъ Иванъ Киртевскій совтоваль въ то время примириться съ мыслью, что русская литература будеть убита на нтсколько лтть, впредь до намтреннія режима. Учрежденіе такъ называемаго бутурлинскаго «негласнаго комитета 2-го апр. 1848 г.» фактически убивало всю литературу. Достаточно сказать, что самъ министръ Уваровъ оказался въ подо-

брѣніи либерализма у этого всевластнаго комитета! Комитету этому были подчинены до двадцати существовавшихъ тогда отдѣльныхъ цензуръ; результаты были въ родѣ слѣдующаго: не пропущено объявленіе о выходѣ въ свѣтъ книги «Исторія Лепнской республики», ибо заглавіе это было признано революціоннымъ; или: запрещена замѣтка о болѣзни картофеля, такъ какъ въ этомъ можно видѣть кулу противъ Промысла...

Казалось бы, что дальше идти некуда; дёйствительность доказала противное. Стоить вспомнить дёянія въ области внутренней регламентаціи страны, чтобы убёдиться вь этомъ. Вспомнимъ знаменитый циркуляръ М.ва Внутр. Дёлъ предводителямъ дворянства (1849 г.) о томъ, что «Государю неугодно, чтобъ русскіе дворяне носили бороды... Государь считаетъ, что борода будетъ мёшать дворянину служить по выборамъ»... Замедлившіе исполнить предписаніе Аксаковы получили его вторично черезъ полицію, послё чего сбрили бороды, хотя и не служили по выборамъ.

IV.

Все было регламентировано и подведено подъ шаблонъ; костюмъ, борода. усы подверглись циркулярнымъ предписаніямъ. Но оказалось возможнымъ идти еще дальше: оказалось возможнымъ циркулярно ръшать научные вопросы. Воть яркій примъръ. Въ концъ сороковыхъ годовъ возникъ вопросъ, — когда исполнится тысячельтіе Россіи, въ 1852 или 1862 году? Первое считаль върнымъ академикъ Кругъ, второе—Погодинъ. Министръ народнаго просвъщенія обратился съ докладомъ (19 авг. 1852 г.) къ императору Николаю І-му, высказывая, что необходимо астрого держаться лътоисчисленія преподобнаго Не-

стора»; Государь Императорь собственноручно начерталь на докладь; «того мнынія и Я, ибо такь учень быль вь свою молодость»... На этомь основаніи рышено было считать начало Руси въ 862 г., и такимъ образомъ историческій факть быль установлень бюрократическимъ распоряженіемъ.

Съ наукой не церемонились. Замънившій Уварова новый министръ народнаго просвъщенія, Ширинскій-Шяхматовъ, началъ гоненіе на философію, заявляя, что «польза философіи не доказапа, а вредъ отъ нея возможенъ», почему и были изъяты изъ преподаванія теорія познанія, метафизика и этика, какъ «несоотетствующія видамъ правительства»; указомъ 26 янв. 1850 г. курсъ философін и психологія въ университетахъ ограниченъ логикой и психологіей, преподавание коихъ поручено священникамъ (Никитенко, «Дневникъ» I, 517 и сл.). Неудивительно, что въ такія историческія минуты можно было позавидовать «умершимь во-время», до эпохи оффиціальнаго мѣщанства вообще (1825—1848), и до террора оффиціальнаго мъщанства въ частности (1848-1855 г.). «Положение наше становится нестерпимъе день ото дня, - писалъ въ 1850 г. Грановскій Герцену: - всякое движеніе на Западъ отзывается у насъ стъснительной мърой. Доносы идутъ тысячами... Для кадетскихъ корпусовъ сеставлены новыя программы. Іезунты позавидовали бы воен-. ному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетамъ, что величіе. Христа заключалось преимущественно въ покорности, властянъ. Онъ выставляется образцомъ подчиненія и дисциплины... Есть съ чего сойти съ ума. Благо Бълинскому, умершему во-время»... Грановскій говорить здёсь, очевидно, не объ однёхъ вышедшихъ тогда новыхъ программахъ для кадетскихъ корпусовъ, но также и о знаменигой книгъ извъстнаго Я. Ростовцева «Наставленіе для преподавателей въ военноучебныхъ заведеніяхъ» (1848 г.), въ которой встрёчается и отмѣченное Грановскимъ требованіе представить Христа въ видѣ образца дисциплины; ему же приписывается и рядъ изумительныхъ афоризмовъ, въ родѣ: «собъсть нужна человѣку въ частномъ, домашнемъ быту, а на службѣ и въ гражданскихъ отношеніяхъ ее замѣняетъ высшее начальство»... (Любопытную исторію послѣдняго афоризма читатель найдеть въ «Запискахъ декабриста» барона А. Е. Ро-

зена; стр. 116 по изд. 1907 г.).

Такова была педагогика эпохи оффиціальнаго мівщанства; на этой почей возросли различные педагоги, въ родів «рыцаря трехъ пощечинъ», пригвожденнаго впослідствій Добролюбовымъ къ позорному столбу, пропов'ядывавшаго подобныя же истины. «Всякая гражданская обязанность есть не что иное какъ безусловное подчиненіе наш-й индивидуальной воли правятельству и отечественнымъ законамъ»... «Воспитаніе и образованіе по форміз и содержавію не что другое, какъ одно повиновеніе»... «Не разсуждай, а исполняй»—вотъ излюбленные афоризмы этихъ рыцарей трехъ пощечинъ (Миллеръ-Красовскій, «Основные законы воспитанія», 1859 г.; см. отзывъ Добролюбова объ этой книгѣ).

«Не разсуждай, а исполняй»—основная заповъдь системы оффиціальнаго мъщанства. Недаромъ самъ императоръ Николай I собственноручно начерталъ на письмъ къ нему министра Уварова: «должно повиноваться, а разсужденія свои держать про себя». И это по справедливости могло считаться лейть мотивомъ всей эпохи оффиціальнаго мъщанства, которую внослъдствіи коротко и мътко очертиль Некра-

совъ (въ «Медвъжьей охотъ»):

Великій вѣкъ—великихъ мѣръ! "Не разсуждать—повиноваться!" Девизъ былъ общій... Неудивительно поэтому, что вся Россія эпохи оффиціальнаго мѣщанства представляла изъ себя, по безсмертному выраженію Михайловскаго, такой изумительный механизмъ въ видъ нисходящей системы баръ, если смотрѣть сверху. и восходящей системы лакеевъ, если смотрѣть снизу... «Пе разсуждай, а исполняй»—вѣдь это спеціально барско-лакейская психологія.

Самыми общими чертами обрисовали мы систему оффиціального м'вщанства; остается спросить, достигла ли цёли эта стройная и тяжелая система, стремившаяся разъ навсегда убить индивидуальность, обезличить человъка, втиснуть его въ узкія рамки мъщанства и въ мундиръ форманизма? Отрицательный отвъть очевиденъ. Система могла, колечно, внъшнимъ образомъ и временью обезличить человъка, не давая ему возможности двигаться и дышать; система могла создать целое поколение людей, пропитанных идеалами мъщанства; сестема могла погубить цълое другое поколъніе «лешнихь людей»— этихь лучшихъ людей своего времени. Но-и только... Большаго достигнуть было невозможно, нбо нельяя объять необъятное, нельзя угасить духъ человъческій, нельзя вытравить личность, нельзя одёть всёхь въ мёщанскій мундиръ, — и въ эгомъ направленіи вст понытки системы оффиціального м'єщанства должны были потерпъть и нотеривли самое жестокое фіаско.

Во режкомъ случать результаты эпохи оффиціальнаго мъщанства были громацыю, какъ въ прямомъ, такъ и въ обратномъ направленів: прямые тъ, которые звучали въ униссонъ съ самой системой; обратные результаты тт, которые ръзко противоръчили ей. Конечно, для насъ особенно важны обратные результаты, намъ важно отмътить, что, «перетерпъвъ судебъ удары», русская интеллигенція не угасла духомъ, но, наобороть, окръпла и возмужала, рас-

цвъла пышнымъ цвътомъ именно въ эту страшную эпоху второй четверти XIX-го въка. Чъмъ сильнъе было давленіе м'єщанства, тімь різче было противодъйствіе индивидуализма: именно въ эту эпоху оффиціальнаго м'єщанства Пушкинъ и Лермонтовъ выставили впередъ принципъ права личности и всю жизнь съ ужасомъ отчаннія боролись съ міщанствомъ. Мы увидимъ далѣе, что именно въ эту эпоху Гоголь заклеймилъ навъки пошлое торжествующее мъщанство; именно въ эту эпоху сформировалась благородная личность Бълинскаго, объявившаго непримиримую войну невыносимому режиму и поставившаго человъческую двичность выше общества, выше человъчества; именно въ эту эпоху формулируется ученіе славянофиловъ и западниковъ, характерное по своему ръзкому анти-мъщанству, по своему этическому и соціологическому инливидуализму. Наконецъ, именно въ эту эпоху формируется характерно анти-мъщанское міровозаржніе Герцена, а безудержный государственный анархизмъ и неистовый соціологическій крайній индивидуализмъ Бакунина является наиболъе ръзкимъ отвътомъ индивидуализма на теорію и систему эпохи оффиціальнаго мъщанства.

Таковы приблизительные этапы нашего дальнъйшаго пути; все это — обратные результаты системы; ея прямые результаты были несравненно менте важны, котя нельзя оспаривать ихъ глубокаго отрицательнаго значенія если не для русской интеллигенціи, то для русскаго общества въ его пъломт. Для русской интеллигенціи эпоха оффиціальнаго мішанства дала только одинъ отрицательный пдейный результать: эпоха эта отразилась въ литературів апогесив мізщанства въ произведеніяхъ Гончарова, а также способствовала габели многихъ лучшихъ людей, превратившихся въ лишнихъ людей. Все остальное идейное, прямое вліяніе эпохи оффиціальнаго міщанства на русскую интеллигенцію и русскую литературу было ничтожно; правда, псевдоромантизмъ былъ излюбленнымъ дътищемъ этой эпохи, подобно тому, какъ певдо-клас пцизиъ былъ фаворитомъ эпохи проскоши, прохладъ и нъгъ» XVIII-го столътія; но ни того, ни другого не спасло отъ жалкой гибели такое меценатство сильныхъ міра сего. Какой-нибудь Кукольникъ оффиціально признавался геніальнымъ художникомъ, но это не помъшало ему быть поглощеннымь забвеніемь витсть съ концомь эпохи оффиціальнаго м'тщанства. Вообще русская пителлигенція реагировала только отрицательно на вст проявленія эпохи оффиціальнаго мѣщанства; однако нельзя не указать на отрицательное значение этой эпохи для внашнихъ формъ жизни русской интеллигенціи и русскаго общества. Бюрократическій строй быль окончательно закръпленъ этой эпохой въ Россіи XIX-го втка, и несмотря на упорную борьбу интеллигенціи съ мъщанствомъ этого строя въ 60-хъ и 70-хъ годахъ, онъ все же успълъ удержаться въ прежней своей снав и снова расцвъсти пышнымъ цвътомъ въ последней четверти XIX-го столетія,

V.

Обо всемъ этомъ однако рѣчь еще впереди. Теперь намъ предстоитъ вернуться къ самой эпохѣ
оффиціальнаго мѣщанства и къ ея выразителямъ въ
литературѣ, — къ проповѣднику и глашатаю мѣщанскихъ ндеаловъ, Гончарову, и къ ихъ безпощадному
сатирику, Гоголю. Но сначала еще нѣсколько словъ
о третьемъ писателѣ, ярче всего характеризующемъ
собою всю эпоху оффиціальнаго мѣщанства, о писателѣ весьма изьѣстномъ и популярномъ, но еще не
вошедшемъ, по странной несправедливости судьбы,

въ исторію русской литературы. Писатель этотъ, глубоко интересный плодъ эпохи оффиціальнаго мѣшанства, не кто иной, какъ знаменитый Козьма

Прутковъ.

Козьма Прутковъ выступиль на литературное поприще (совершенно анонимно) въ расцвътъ эпохи и разгаръ террора оффиціальнаго мъщанства комедіей «Фантазія» и баснями въ «Современникъ» 1851 г.; черезъ два года онъ выступиль впервые подъ полнымъ своимъ именемъ, съ тъми качествами и свойствами, которыя были созданы въ немъ эпохой оффиціальнаго мъщанства и которыя сдълади безсмертнымъ

Имя славное Пруткова Имя громкое Козымы: 1).

Въ настоящее время уже разошелся десятокъ изданій полнаго собранія сочиненій Козьмы Пруткова, его имя стало безсмертнымъ, его афоризмы цитируются въ разговорной рѣчи на ряду съ отрывками изъ его басенъ, — но все-таки главное значение Козьмы Пруткова остается совершенно невыясненнымъ. Обыкновенно его признають талантливымъ пародистомъ, противъ чего, однако, горячо возстаетъ самъ Прутковь въ своемъ знаменитомъ «письмъ извъстнаго Козьмы Пруткова къ неизвъстному фельетонисту С.-Петербургскихъ Въдомостей», 1854 г., утверждая, что онъ пишетъ не пародіи, а подражанія... Однако ни пародін, ни подражанія не объясняють того ореола безсмертія, который окружаеть чело Козьмы Пруткова. Не въ подражаніяхъ дъло, ибо, дъйствительно, кто не писалъ подражаній? И многіе ли помнять

¹⁾ См. «Собр. соч.» Козьмы Пруткова, стих. «Честолюбіе». Замѣтимъ кстати, что мы оставляемъ совершенно въ сторонѣ литературную г. неалогію Козьмы Пруткова, полагая, что всѣмъ извѣстно, какимъ образомъ выработали этотъ литературный типъ гр. А. Толстой и братья Жемчужниковы.

теперь имена талантливыхь пародистовь К. Эврипидина (Конст. Аксаковь). Конрада Лиліеншвагера, Аполлона Капелькина (Н. Добролюбовь) и др.? Вскони почти забыты, а имя Козьмы Пруткова твердо сохранило свой въсъ и свое значеніе. Отчего?

Дъло въ томъ, что основной и главный смыслъ произведеній Козьмы Пруткова— общественный; мы уже сказали, что Козьма Прутковъ быль тиничнымъ продуктомъ эпохи оффиціальнаго мъщанства—и въ этомъ вся причина его неумирающаго интереса и значенія. Его знаменитое качество— колоссальнъй шая наивность— помогло ему, ничто же сумняся, фиксировать въ своихъ произведеніяхъ такія черты этой эпохи, которыя на живомъ примъръ позволяють намъ судить о той поръ. Козьма Прутковъ— типичный и неизбъжный результать той эпохи, разръзъ пласта, по которому легче всего изучать историческія наслоенія цълаго періода русской жизни и литературы.

«Усердіе все превозмогаеть!» — такъ гласить 84-й афоризмъ изъ его «Плодовъ раздумья» — и въ немъ вся теорія эпохи оффиціальнаго мѣщанства; еще Бенкендорфъ высказаль эту же мысль Пушкину; въ этомъ афоризмѣ также все основаніе литературной дѣятельности Козьмы Пруткова, писавшаго стихи, драмы, мистеріи, проекты, водевили, «историческіе матеріалы», мысли и афоризмы: — усердіе все превозмогаетъ. «Прикажуть — завтра же буду акушеромъ», — говориль въ эту эпоху Кукольникъ; среда, создавшая такихъ Кукольниковъ, создала и Козьму Пруткова.

Мы видъли уже всю узость этой эпохи. Личность была подавлена; узость казенщены сказывалась на всъхъ мфропріятіяхъ. Самостоятельная мысль объявлялась сумасшествіемъ (вспомнимъ Чаадаева), всякая попытка выйти изъ рамокъ подавлялась неукосаительно. И совершенно своевременной была

знаменитая, часто повторяемая Козьмою Прутковымъ мысль: «никто не обниметь необъятнаго!» (аф. 3, 44, 67, 104, 160 и др.). Съ какимъ узкимъ, мѣщанскимъ самодовольствомъ повторялся и до сихъ поръ повторяется этотъ афоризмъ встми убъжденными последователями системы оффиціальнаго мъщанства! Часто приходится слышать эту же мысль отъ представителей умфренности и аккуратности, но только въ нъсколько иной формъ, въ пословицахъ о сверчкъ и шесткъ, о плети и обухъ, о рожнъ, о воробь в и оря в... Вообще м вщанство изобрътательно и находчиво пользуется народной мудростью. Козьма Пругковъ выразилъ ту же мысль, но гораздо изящите и сильное: «никто не обниметь необъятнаго!», пли въ другомъ мъстъ-менъе изящно, но еще белъе сильно: «плюнь тому въ глаза, кто скажеть, что можно обнять необъятное!» (аф. 104). Мысль эта чрезвычайно удобна тъмъ, что, при желаніп, «необъятнымъ» можно считать пространство въ несколько вершковъ; да такъ это и было въ узкую эпоху оффиціальнаго мѣщанства.

«Мундиръ, одинъ мундиръ!» — этотъ эппграфъ эпохи военщины и бюрократизма нашелъ свой отголосокъ во многихъ глубокихъ мысляхъ Козьмы Пруткова. Военщина сказалась даже въ самой формъ нъкоторыхъ его афоризмовъ; по замъчанию его біографа (Собр. соч., XIV) въ «Плодахъ раздумья», часто слышится военная команда: «бди!» — причитателямъ мыслитель: - «козыряй!», казываеть «всегда держись на чеку!», «смотри въ којевь!» (аф. 5, 42, 129, 150 и др); въ эпоху военщены и казенщины даже афоризмы звучали какъ команда у такого чуткаго мыслителя, какъ Козьма Прутковъ; къ мундиру, погончикамъ и петличкамъ онъ относился съ полнымъ благоговъніемъ. хочешь быть красивымь -- поступи въ гусары»,

глубокомысленно совътуеть онъ (аф. 16), и не менъе глубокомысленно прибавляеть: «не будь портныхъ, скажи: какъ различиль бы ты служебныя въдомства?» (аф. 18). А въдь это дъло важное; въроятно именно для того, чтобы различать служебныя въдомства-«человъкъ, не будучи одъянъ благодътельною природою, получилъ свыше даръ портного искусства» (аф. 17). Неудивительно послѣ всего этого, что нашъ мыслитель съ полнымъ убъжденіемъ заявляеть, что чиновничество-одно спасеніе: «только въ государственной служов познаешь истину» (аф. 89); бюрократизмъ и государственность — панацея всёхъ воль; лучие всего было бы обезличиться окончательно, все предать во власть и на усмотрѣніе начальства — недаромъ Козьма Прутковъ глубокомысленно замъчаеть, что какъ было бы хорошо, сесли бы дозволено было относить вст непріятности на казенный счеть» (аф. 130). Мысль эта порождена эпохой оффиціальнаго мѣщанства, когда бюрократизмъ достигь степеней поистинъ небывалыхъ и пытался подчинить себъ и всъхъ и вся-въдь только въ государственней службъ можно познать истину, а такъ какъ усердіе все превозмогаеть, то «усердный въ службъ не долженъ бояться своего незнанія; ибо каждое новое дѣло онъ прочтетъ»... (аф. 82). Вы только вникните въ эту блестящую и тонкую логику! Неудивительно, что при такомъ благоговъніи къ убивающему личность бюрократизму Козьма Прутковъ (уже въ 1863 г.) могъ написать знаменитый проекть «О введенін единомыслія въ Россім»: онъ грустилъ по эпохъ единомыслія и мундира. Что мундиръ для него стоялъ выше всего-объ этомъ мы уже говорили; чинопочитание-страсть эпохи оффиціальнаго мъщанства. «Небо, усъянное звъздами. всегда уподоблю груди заслуженнаго генерала»—заявляеть нашь мыслитель (аф. 113), и это небу честь не малая.

Всю бездну плоскости и пошлости эпохи оффиціальнаго міщанства можно предполагать уже и a priori. Дъйствительно, что могло въ то время пустить прочные корни? Продажная, полицейская литература и журналистика Булгариныхт, степенное мъщанство нарождающагося покольнія (которому высказаль свое благоволеніе Козьма Прутковь, изрекши, что «степениссть есть надежная пружина въ механизмъ общежитія», аф. 158), приниженная пошлость и сервилизмъ распаявшихся дибераловъвоть что господстровало въ эпоху оффиціальнаго мѣщанства. Если мы къ этей пошлести прибавимъ еще и самомнъние - а въдь они очень часто находятся вийсти, — то мы увидими, что Козьма Прутковъ явился типичнъйшимъ представителемъ своей эпохи: чего-чего, а ужъ самомивнія и пошлости въ немъ было за десятерыхъ. Какое великолъпное обращеніе съ читателемъ: «смотри, читай со винманіемъ!», «вникни въ пздаваемое!». «твой доброжелатель Козьма Прутковъ»;- и вмъстъ съ этимъ непроницаемымъ самомненіемъ, какія «казенныя пошлости!» (Себр. соч., XIII). Казенныя пошлостии въ то же время непререкаемыя истины: «не все стриги, что растеть!», или «два человъка одинаковой комплекцін дрались бы недолго, если бы одного превозмогла силу другого»... Или «если на клъткъ слона прочтешь надпись буйволъ-не върь глазамъ своимъ» и т. п. (аф. 69, 70, 106 и др.). Не вспоминаются ли при этомъ глубокомысленныя философствованія различныхъ доморещенныхъ Кива Мокіевичей «звърь родится нагишомъ. Почему же вменно нагишомъ? Почему не такъ, какъ птица: почему не выпушливается изъ яйца? Какъ право, того... совстви не поймешь натуры, какъ побольше

въ нее углубишься!.. Ну, а если бы слонъ родился вь яйав?» и т. д. Или: «воть, напримърь, медвъдь: звърь лъсной, пространный, а хвость у него такъ, съ пуговку небольшую; а сорока, вотъ, птица малая, перелетная-а вишь какой хвостище нацъпила!»... (Гоголь, «Мертвыя души»; Тургеневъ, «Разговоръ на большой дор гъ») Послъ знакомства съ Козьмой Притковымъ вся эта философія получаеть иной смыслъ и ясное освъщение, такъ какъ становится понятной ея связь съ эпохой оффиціальнаго мъщанства; философія казенныхъ пошлостей лучшая карактеристика всей эпохи, и если Шекспиромъ этой эпохи былъ Кукольникъ, а ея Пиндаромъ- Бенедиктовъ, то Козьма Прутковъ вполнъ заслуживаль бы званія придворнаго философа этой эпохи. Къ тому же онъ въ одномъ лицъ соединялъ всъ таланты: своей «Фантазі-й» онъ достигь истинношекспировской для эпохи оффиціальнаго міщанства высоты; а въ лирикъ онъ, от адавъ духъ эпохи, недаромъ соперничаль со своимъ «сослуживцемъ по министерству финансовь, г-номъ Бенедиктовымъ»... Своимъ псевдо-романгизмомъ Прутковъ быль върнымъ сыномъ эпохи.

Быть можеть, вамь все это кажется маловажнымь, читатель; но вы представьте себт все самомнтне и всю пошлость Козьмы Пруткова воплощенными въ какой-либо власть имбющей особт, съ девизомъ «не разсуждать — повиноваться!», въ какомъ нибудь маюрт Перехвать-Залихватскомъ, представьте себт Козьму Пруткова на тронт Няколая І-го—и подумайте о возможныхъ результатахъ. А результаты эти налицо: всеобщій крахъ 1855 года, приведшій къ паденію и самой системы оффиціальнаго мтщанства. Козьма Прутковъ ттмъ-то и замтателень, какъ литературный типь, что, обладая огромной дозой наивности, онь сочеталь въ себт вст основные результаты

системы цёлой четверти вёка, и съ той же великольпной наивностью и непроницаемымъ самомнёніемъ выставиль эти результаты ярко и выпукло въ своихъ «плодахъ раздумья», а отчасти и въ своихъ драматическихъ произведеніяхъ. «Многіе люди подобны колбасамъ: чёмъ ихъ начинять, то и носять въ себѣ» (аф. 98), — это прекрасно примёнимо къ самому автору изреченія: его начинили духомъ и сущностью эпохи оффиціальнаго мёщанства — и онъ носиль въ себѣ это содержаніе и выразилъ его наглядно и ярко своими произведеніями и самымь своимъ тиномъ.

Этимъ мы и закончимъ знакомство съ Козьмою Прутковымъ, котя произведенія его представляють еще неисчерпаемый матеріаль интересныхь фактовъ для характеристики эпохиоффиціальнаго мъщанства. Укажемъ мпмоходомъ на его комедію «Фантазія», поставленную на Александринской сцевъ 8-го января 1851 г., снятую съ репортуара по Высочайшему повелънію 9-го ливаря 1851 года, и впервые напечатанную (въ 1884 г.) со встии цензорскими помарками и съ примъчаніями Козьмы Пруткова: это интересная страничка изъ исторіп цензурнаго террора эпохи оффиціальнаго мъщанства. Отсылаемъ читателя къ самой комедін-перечитать ее всегда интересно, — а сами замътниъ только въ заключеніе, что не даромъ, какъ видить теперь читатель, Козьма Прутковъ пользуется громадной непулярностью, что его произведенія—не пустая забава. «Бросая въ воду камешки, — изрекъ однажды Козьма Прутковъ, -- смотри на круги ими образуемые; иначе гакое бросаніе будеть пустою забавою» (аф 156). Этотъ великольнный «плодъ раздумья» должно всегда имъть въ виду при чтеніи произведеній самого Козьмы Пруткова: при чтенін нхъ надо обращать внимание на ихъ историческое и

общественное значеніе, иначе такое чтеніе будеть пустою забавою... Вообще надо «смотрёть въ корень» при изученіи каждаго явленія; въ данномъ случай, носмотрёвь въ корень, мы уб'єдились, что значеніе Козьмы Пруткова гораздо'серьезнёе. чёмъ полагають обыкновенно. Козьма Прутковъ типичный представитель своего времени, онъ живое воплощеніе главныхъ сторонъ системы оффиціальнаго м'є щанства; оттого-то мы и сстановились на немъ такъ подробно.

Покончивъ съ характеристикой эпохи оффиціальнаго мъщанства и ен литературнаго воплощенія, мы переходимь въ Гоголю и Гончарову, какъ къ двумъ писателямъ, явившимся напболѣе яркимъ обратнымъ и прячымъ слъдствіемъ и результатомъ эгой эпохи. Мы не хотимъ этимъ сказать, что Гоголь ненавидьть систему оффиціальнаго мъщанства, а Гончаровъ питалъ къ ней симнатію; быть можетъ, наполовину бе сознательно явились они, первый — сатирикомъ мъщанства, второй — апологетомъ его. Апогей антимъщанства Гоголя и апогей мъщанства Гончарова оба были слъдствіемъ (обратнымъ и прямымъ) эпохи оффиціальнаго мъщанства, совершенно независимо отъ воли и желанія авторовъ «Мертвыхъ душъ» и «Обломова».

roronb.

I.

Мъщанство идеть! — идеть мъщанство жизни въ русской литературь, только-что освободившейся отъ литературнаго мъщанства: Гоголь вводить въ русскую лигературу безконечный рядъ мъщанскихъ типовъ, проходящихъ черезъ неуловимую градацію отъ идеаловъ желудка, растительной жизни, «растительности» — этого перваго этапа на пути къ мъщанству до идеаловъ духовнаго мъщанства. Впослъдствіи и Гончаровъ прогивопоставилъ сознанную имъ «растительность» Обломовки несознанному имъ мъщанству ПІтольца, но Гоголь первый далъ художественную картину растительныхъ идеаловъ въ безсмертныхъ типахъ старосвътскихъ помъщиковъ и Петра Петровича Пътухова.

Растительность—это первый этапъ къ мѣщанству, сказали мы; переходъ между ними—постепененень и почти незамѣтенъ. Мѣщанство ли въ Тентетниковѣ, этомъ протогипѣ одновременно и Обломова, и племянника Адуева? (ср. VI. 40—41 съ «Обыкновенной исторіей»). Мѣщане ли Собакевичъ, Плюшкинъ и имъ подобные? Отчасти, конечно, да, хотя настолько же они близки и къ растительности: для того, чтобы быть истинными мѣщанами, имъ не хватаетъ узости и безличія; такъ, несмотря на всю свою узость—не полный мѣщанинъ Скупой рыцарь, у котораго узкая страсть является всеобъемлющей,

всеснівной, между тімь какь истинный мінанинь всегданумъренъ инактуратенъ, не горянь инверхоз regente: unit i and that are made and are sinever ни Но вотъ уже яркій переходы пъ пъщансовущи ссора / Изана Ивановича съ Иваномъ Никифоровит. чены (Гихая и пирная растительная ажизны выскруч хей провинціи прерывается смертельной за враждой двухь западычных прузей и прінтелей; пвытання этой, положимъ, уже и раньше проблескивалимелнія черточниотмъщанства: Иванъ» Ивановичълискушаръ диню, Гтщительно псобираль себмена певы обуманиут сев надписью: «сіянцыня събденам такого-то пчислам в п пучаствоваль такой-полу Иванъ: Никифоровичь, пенесмотря налевого шарробразность; не г.быль пвторымъ пакавівмы П'втухи, и, какъ полу-м'єщанинь, тавердо нажитоваль; что не зо хитов единомъ живы будеть человикъ, почену и отказался мънять своеружьетна отнорименную бурую сипнью подвалившка съ овсомъ; Ногого поприот между прочимь; главное начинается послу отого: Энивода, твызвавшаго - изапиную перебранкундзукт другей; два нерармучныкы друга делаются смертель ныши врагами и изъ-за подного-итойъко caoba arycanadur : in amaini. inni aminiar chorno: . («Велиная, безмонечног пеликая черта кудожественнаго генія этоть гусавт!» - восклицаль въ свое вре-Бълинскій (въ статьъ «Горе отъ ума», 1839 г.), что вносъбдствін уравновійненный мітщанинь Гончаробъ призналъ комизмомъ и ребячествомъ, которое «безь сибха мельзя читать» - (си) его «Вамътки о личности Бълинскатом): И однако: неистовый Виссаріонъ былъ гораздо болте правъ, указывая, что пвоя безконечная пустога и пошлость м'вщанской жизни; безсмысленность ея выразились вытатомы опустонъти безсмысленномъ, оскербнения и въ стоб же время: вы этомъ проявилось развителитщанства ппо направленію отъ фастительной жизни. Камывыцаумаете, стали бы старосвътские помъщики, или Петръ Петровичь Пътухъ, или, наконецъ, обломовцы-въ теченіе десяти лъть вынимать старые дъдовскіе карбованцы изъ сундуковъ, судиться въ теченіе десяти лъть изъ-за «гусака»? Въ этомъ уже страсти—узкія, мъщанскія, но все-таки страсти, несовмъстимыя съ мирной растительной жизнью; здёсь впервые въ нашей литературъ «мъщанство идетъ», въ художественномъ отражении творчества поэта, въ одухотворенныхъ и живыхъ образахъ. И какъ характерно это окончание разсказа о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ:-- «скучно на этомъ свътъ, господа!» Намъ не было скучно, когда мы всматривались въ растительную жизнь старосвътскихъ помъщиковъ; по стоило показаться мъщанству-и томительная скука, при видъ безконечной пошлости и плоскости мъщанской жизни, дъйствительно овладъла нами. Невольно вспоминается, что когда, послъ вспышки общественности и индивидуализма 60-хъ годовъ, мъщанство снова выступило впередъ на историческую сцену, то одна изъ наиболье яркихъ картинъ мъщанства тоже была закончена авторомъ тоскливымъ восклицаніемъ: «эхъ, госнода, что-то скучно!» (Помяловскій, «Молотовъ»).

II.

Мѣщанство идеть!—И передъ нами проходить цѣлая галлерея рѣзко очерченныхъ типовъ и характеровъ, настолько рѣзкихъ и выпуклыхъ, что одинъ изъ позднѣйшихъ критиковъ создалъ даже цѣлую теорію безжизненности этихъ типовъ.

Вотъ Маниловъ—последній могиканъ помещина чьяго сентиментализма, съ небольшой дозой изредка проявляющейся обломовщины, вечно читающій одну

и ту же книгу съ закладкой на 14-ой страницѣ, мечтающій о томъ, какъ бы хорошо было выстроить каменный мостъ черезъ прудъ или провести подземный ходъ отъ дома; человѣкъ, отъ котораго не дождешься никакого живого слова, который скорѣе похожъ на сахарную куклу, чѣмъ на человѣка. Маниловъ— послѣдній могиканъ сентиментализма, послѣдній ударъ приторной чувствительности отмирающей эпохи; отчасти потому онъ и мѣщанинъ съ головы до пятъ. И когда вы подойдете къ этому сентиментальному мѣщанину, то «въ третью же минуту почувствуете скуку смертельную»,— ибо воочію увидите передъ собой апогей засахаренной пошлости и приторной плоскости.

Воть дама просто пріятная и дама пріятная во всъхъ отношеніяхъ, какъ представительницы того города, главной и основной чертой котораго является «достигшая до высшей степени пустота»; безсмысленная жизнь, сплетни, безконечные разговоры о какойнибудь «сконапель истоарь»; вотъ цёлый рядъ чиновниковъ, такъ ярко обрисованныхъ Гоголемъ сначала въ «Ревизоръ», а затъмъ п въ первомъ томъ «Мертвыхъ душъ»: вообще «весь городъ, со всъмъ вихремъ сплетней» — воплощение самаго типичнаго мъщанства. Пошлая, мъщанская жизнь и жалкая мъщанская смерть: «пустота и безсильная праздность жизни смѣняются мутною, ничего не говорящею смертью»--- вась невольно охватить тоска, даже ужась передъ этой «страшной мглой жизни» мъщанства.

Въ «Ревизоръ» (1836 г.) ярко и выпукло выставлено мъщанство чиновничества— и картина получилась дъйствительно потрясающая. Современные Гоголю «критики» — разные Брамбеусы, Булгарины и т. и. — обрушились на Гоголя за то, что въ его произведеніяхъ, а въ частности въ Ревизоръ, нътъ ни

одного «свътлаго лица». Обвинение, конечно, наивное, но самый факть отмъченъ върно: дъйствительно-тягостное впечатление выносишь оть знакомства съ этимъ безпросвътнымъ мъщанствомъ, дъйствительно — потрясающая картина пропитанной мъщанскимъ бюрократизмомъ жизни Россіи встаетъ передъ нами въ «Ревизоръ». Эта атмосфера, пропитанная взяточничествомь, взятки отъ гнилого чернослива и борзыхъ щенковъ до сотенъ и тысячъ рублей, эта круговая порука всёхь за каждаго, этн мелочные интересы съ высшимъ идеаломъ--«влъзть въ генералы», эта всеобщая продажность, сгибаніе въ три погибели передъ высшимъ чиномъ и пр., н пр., - въ этомъ сказалась вся бюрократическая мъщанская Россія. И совершенно напрасно пытался впоследстви Гоголь придать какое-то якобы высшее символистическое значение «Ревизору» (см. его «Развязка Ревизора», 1846 г.), сознавая, что оть этой пьесы всякій выносить какое-то «тягостное чувство», «чудовищно-мрачное впечатлъніе»; это тягостное чувство при видъ пошлой и плоской мъщанской жизни не исчезнетъ, если мы наивно сопоставимъ ревизора съ совъстью, а чиновниковъ-со страстями человъка... Тягостное чувство при видъ мъщанской жизни - совершенно достаточный результать одного изъ величайшыхъ произведеній автора, достигшаго апогея анти-мъщанства.

Еще болье подробно, чыть вы «Ревизоры», Гоголь оттынить мыщанство бюрократизма вы «Шинели» (1842 г.), новысти, оты которой Достоевскій выводиль всю послыднюю русскую литературу («всы
мы вышли изы Шинели»), имыя вы виду главнымы
образомы, конечно, то мысто, когда жалкій Акакій
Акакіевичь умоляеты чиновниковы: «оставыте меня!
зачымь вы меня обижаете?»—и чуткое ухо слышить
вы этихь словахы другія— «я брать твой»... Дый-

ствительно, здъсь вы предчувствуете будущаго Достоевскаго съ его надрывомъ любви къ человъку, къ личности; но для насъ пока важна другая сторона типа Акакія Акакіевича и творчества Гоголя, этосторона безпредъльнаго мъщанства, въ изображении таланть Гоголя достигь своей вершины. котораго Передъ нами мъщанинъ, чиновникъ, вся жизнь котораго заключена въ канцеляріи, все наслажденіе котораго - въ перепискъ бумагъ; на одной мысли, ни одной страсти, ни одного чувства, кромъ этого. Для него не существуеть ничего, кромъ канцеляріи, кромъ ровныхъ строкъ переписанныхъ бумагъ; даже написавшись за день всласть, сонъ ложился спать, улыбаясь заранње при мысли о завтрашнемъ диъ: что-то Богъ пошлеть переписывать завтра?» Вы скажете, что это, утрирогка типа, но всъ типы Гоголя такая же утрировка, и въ этой выпуклости ихъ-ихъ главное значеніе. И прежде чёмъ мы увидимъ въ Акакін Акакіевичъ человъка (а увидимъ мы это только въ «Бъдныхъ людяхъ» Достоевскаго), мы видимъ въ немъ чиновника, жизнь, загубленную канцеляріей и буматой, общее следствіе бюрократическаго м'вщанства дореформенной Россін. Акакій Акакіевичь-это еще мелкая сошка, первая ступень лѣстинцы бюрократизма, --но общій духъ системы отражается на немъ не менте ясно, чтмъ на какомънибудь директоръ департамента, его превосходительствъ Иванъ Петровичь («Утро дълового человъка», 1836 г.), весь смысль службы котораго заключень въ наблюдении за шириной полей въ дъловыхъ бумагахъ: «это что значить? у васъ поля по краямъ бумаги неровны. Какъ же это? Знаете ли, что васъ можно посадить подъ аресть?». Такое глубокомысленпое отношение къ службъ-яркое проявление системы оффиціальнаго м'вщанства; зд'всь Акакій Акакіевичъ и Пванъ Петровичь, стоящіе на столь разныхъ ступеняхъ лъстницы восходящихъ лакеевъ, вполнъ схо-

дятся другь съ другомъ.

Своей вершины анти-мѣщанство Гоголя достигло въ первомъ томъ «Мертвыхъ душъ» (1842 г.), изъ котораго нъсколько типовъ затронуты нами уже выше. Никогда прежде въ русской литературъ не появлялось такой геніальной, такой удручающей душу картины человеческой пошлости, узости, мещанства. Самь Гоголь разсказываеть, что когда онь читаль Пушкину «Мертвыя души», то жизнерадостный веселый Пушкинъ «началъ становиться все сумрачнее, сумрачнъе, и наконецъ сдълался совершенно мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: - Боже, какъ грустна наша Россія!» («Выбранныя мъста изъ цереписки съ друзьями»; VII, 78-92, 1843 г.). Самъ Гоголь объясняль это чудовищностью, каррикатурностью своихъ типовъобъясненіе, достойное не творца «Мертвыхъ душъ», а автора «Переписки», не понимавшаго всей силы, всей глубины правды имъ же созданныхъ типовъ. Возьмемъ наудачу какой-нибудь типъ, котя бы, напримъръ, полковника Кошкарева, изъ второго тома «Мертвыхъ душъ»; какъ Гоголь могъ не видъть, что этоть полковникъ — яркое олицетворение всей системы оффиціальнаго м'вщанства на Руси? Всъ эти «депо земледъльческихъ орудій», «главная счетная экспедиція», «контора принятія рапортовъ и донесеній», все это бумагопроизводство, наружный порядокъ вмъсть съ анархіей по существу-въдь это сама жизнь, сама правда, сама оффиціальная, дореформенная Россія! На этой почвѣ одинаково понятны и героп «Ревизора», и несчастный Акакій Акакіевичъ, н тины перваго тома «Мертвыхъ душъ»-- вся та сплошная пошлость, въ рельефномъ выставлении которой заключалась главнъйшая сторона творческаго характера Гоголя: -- здёсь лежить причина того, что именно Гоголемъ достигнута высшая точка въ изображенін духовнаго міщанства. Пушкинь быль глубоко правъ, говоря Гоголю, что «еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять такъ ярко пошлость жизни, умъть очертить въ такой силъ пошлость пошлаго человъка» («Переписка»; VII, 78-92). И конечно въ этомъ, а не въ чемъ-нибудь иномъ, заключается причина того гнетущаго чувства, съ какимъ Пушкинъ слушалъ чтеніе «Мертвыхь душь», того тяжелаго впечатленія, съ которымъ не разстаешься при чтеніи лучшихъ произведеній Гоголя. Гоголь сознаваль эту свою черту п такое дъйствіе произведеній: «пошлость всего вмёстё испугала читателей, говорить онъ: - испугало ихъ то, что одинъ за другимъ следують у меня герои одинь пошлее другого, что нъть ни одного утъшительнаго явленія... что по прочтенін всей книги кажется, какъ бы точно вышелъ изъ какого-то душнаго погреба на Божій свътъ» (Ibid.). Этоть душный погребь-мыщанство во всыхь его проявленіяхъ, выставленное съ громадной силой Гоголемъ къ позорному столбу; въ этомъ яркомъ выставленім узости, плоскости и пошлости мъщанства вст права Гоголя на званіе великаго писателя, достигнувшаго въ своихъ произведеніяхъ апогея анти-мъ щанства, умъвшаго «кръпкою силою неумолимаго ръзда» выставить «выпукло и ярко» всю безконечность пошлости мѣщанства, -- «всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога» (V, 132).

Воть онь, тоть «страхь жизни», та «мгла жизни», которые, начиная съ Державина, все сильнее и сильнее звучали въ русской литературе и жизни, пока не достигли высшей своей точки въ безнадежномъ, но все-таки относительномъ нессимизме Лермонтова,

инави безсознательной тоскы переды мынанствомы кизничений при полномы неумый инавичений при при полномы неумый каки свизать попрость поружающей жизни съ обществей ной шизнью Россіи, привела Тоголи ко второму передору п

ARRIGHER AND THE SERVE OF A SHEET STATE OF A STREET STATE OF A STR

изи Не подлежить никакому сомнению, какъ это отметиль впервые еще Чернышевскій, что вы творчествъ и жизни Тогойя не было никакого ръзкаго перепома: особенно ясно сказывается это при изучение его писемв: Пошлость Гоголь ненавидьть до самаго женца своей жизни одинаковой силой ненависти; но его приводила въ отчанніе полная новозможность успейной пборьбые съ и ней и быстрой побъям недвиней. Конечно, понт прекрасно псознаваль, что псочинения его именно и являются ръзкой борьбой съ поилостью, овимвиданствомы, но чемъ далене шло время, темъ больемин болье остановилия онь недовойень результатами патой борьбы Ему котълось чего то великаго, ръшающаго борьбу однимъ ударомъ; всъ свои лучшія сочиненія юньпосталь і спитать сь этой точки врівлін нымы ток менкимы, пнезначительнымы; понь сталь стараться захватить суть пошлести глубие, посмотрыть вы корены, поразить источники мещанства вы самой общественной жизни: Россіи, отсичь однимъ ударомъ головучидръзгъщанства. Но помытки эти были выше силы Гоголян и онъ палъ подъчтяжестью добровольно взятаго. (на Ісебя) пруватод втород

обрисовыналь песю поилость мещанской жизни, и это было пегоп страпнымы бружіемы вы сорыбы съ мыщанствомы; но самы оны не сознаваль всей силы своего оружія этого остро отточеннаго неумолимаго

ръзца. Онъ бросиль ръзецъ и промъняль его на перо публициста и на кисть портретиста нравственныхъ и физическихъ красавцевъ и красавицъ. Но что это было за царапающее бумагу перо, что за приторная кисть! Желая однимъ ударомъ покончить съ мъщанствомъ, Гоголь вналъ въ жесточайшее духовное мъщанство—и это было началомъ его конца.

Публицистомъ онъ выступилъ въ своей знаменитой «Перепискъ». Намъ нътъ надобности подробно останавливаться на всемъ мъщанствъ этого произведенія, долженствовавшаго, по мненію Гоголя, спасти Россію. Какъ публицисть (самъ Гоголь считаль себя въ «Перепискъ» не публицистомъ, а чуть ли не пророкомъ Божінмъ), онъ совершенно не понялъ, въ чемъ коренятся тъ общественные и государственные ростки мъщанства, которые онъ хотълъ съ одного взиаха вырвать съ корнемъ. Правда, и Гоголь и его порреспонденты чувствовали, что въ самой системъ, вь самой энсть есть какое-то неуловимое зло, но имъ было неясно, въ чемъ оно состоитъ, гдъ его причины. «Грустно и даже горестно видъть вблизи состоянія Россін, но, впрочемъ, не слъдуеть объ этомъ говорить», - нишеть Гегелю пресловутая «губернаторшат, Россети-Смирнова; «вев надають духомъ, какъ бы въ ожиданін чего-то неизбъжнаго, - пишетъ ему графина Уварова:--каждый думаеть только о спасенін личныхъ выгодъ, о сохраненій собственной пользы, точно какъ на полъ сраженія послъ потерянной битвы». Дъйствительно, система оффиціальнаго мъщанства приводчла ко всеобщей нравственной анархін, и это сознаваль даже самъ авторъ «Переписки», чувствуя что-то неладное въ государственномъ механизий: «образовался другой, незаконный ходъ действій мимо законовь государства и уже обратился почти въ законный, такъ что законы остаются только для вида» — иншетъ самъ Гоголь. Гдъ же причины

этого зла, являющагося, быть можеть, одной изъ первопричинь мъщанства частной жизни? Причина— въ секретаряхъ и въ совътникахъ губернскаго правленія...

Этотъ нев роятный отв ть Гоголя слишкомъ общензв стенъ, и можно безъ обиня вовъ сказать, что едва ли Гоголь понималъ общественные вопросы лучше, что тоть его купецъ, который весь выдился въ классической фразъ: «тутъ съ этимъ соединено и буджетъ и реакцыя, а иначе выйдетъ навнуризмъ»... И дъйствительно, что другое, какъ не эта фраза вспомнится читателю, когда онъ услышитъ отъ Гоголя, что табель о рангахъ есть мудрое изобрътеніе самого Господа Бога, что взяточничество чиновниковъ происходитъ отъ мотовства ихъ женъ, что все зло въ государственномъ организмъ Россіи—отъ секретарей, что вырвать все это зло съ корнемъ очень нетрудно—стоитъ только, чтобы совътники губернскаго правленія были честные люди...

Упавъ такъ низко, Гоголь становится сознательнымъ проповъдникомъ и апологетомъ системы оффиціальнаго м'вщанства. Онъ изумляется премудрому внутреннему устройству Россіп, преклоняется передъ бюрократическихъ мундиромъ, видитъ въ немъ единственное спасеніе всъхъ и каждаго: «кто даже и не въ службъ, тотъ долженъ теперь вступить на службу н ухватиться за свою должность какъ утопающій хватается за доску, безь чего не спастись никому»... Онъ пророчествуетъ далъе, что Россія — любимое дитя Бога, что черезъ десятокъ лътъ Европа прівдетъ къ намъ не за пенькой и саломъ, а за мудростью (какъ-разъ черезъ десять лътъ послъ этихъ словъ быль Крымскій погромъ). Онъ раздёляеть гзятки на «стыдныя» и «нестыдныя» п обращается съ веззваніемъ къ полиціп, убъждая прекратить взятки и поборы (см., напр., VIII, 130-1; VI, 95; VII, 119; VII, 99, 176; оправданія и объясненія Гоголя—см. VIII, 20 и сл.). Во всемъ этомъ, конечно, много благонам вренной наивности, той наивности, которая убъждена, что «стонть только захот вть» (какъ впоследствій выражался Л. Толстой) и сразу перем внится весь строй жизни. Любезные сограждане, перестанем в быти злыми,—взывала Екатерина II,—и наступить в в златой. Далеко ли ущель Гоголь (а впоследствій и Л. Толстой) отъ этого призыва къ самосовершенствованію, какъ къ панацев отъ всёхъ золь?

Однако напвность — напвностью, а пепонимание и невъжество своимъ чередомъ. У Гоголя они были твиь болве ношлыми, твиь болве мвщанскими, что пропитаны были духоми пророчества, религіозною върою въ свои слова. Самомнъние и верхоглядство и раньше проскальзывало у Гоголя: то онъ берется за профессуру, не питя и самыхъ элементарныхъ свёдёній по своему предмету; то собирается «хватить среднюю исторію въ восемь томовъ», то помічаеть подъ заголовкомъ отрывка своей работы «Т. I, кн. I, гл. I», не имъя даже второй главы; то онъ «медлитъ пзданіемъ первыхъ томовъ», не им'єя ни строчки написанной, и т. п., и т. п. (см., напр., ІХ, 128, 217, 263 и др.). Въ «Перепискъ» эти черты достигли у Гоголя бользненно-уродливыхъ размъровъ, осложнившись върою въ свой мессіанизмъ. «Создалъ меня Богь и не скрыль оть меня назначенія моего!» на такой почвъ самомивние дало богатые плоды. Гоголь просить своихъ соотечественниковъ прочитать «Переписку» нѣсколько разъ, а также купить нѣсколько · экземиляровъ и раздать тѣмъ, которые купить не могуть... Онь ко всёмь и каждому обращается съ властнымъ совътомъ-къ генералъкъ поэтамъ, къ «занимающимъ губернаторамъ, важныя м'єста», наконець, даже къ ученымъ (о томъ,

какъ надо «проповъдывать науку»!). Тонь совътовъпророческій, непогръщимый, тонъ мнѣнія —безаппелляціонный: «очнитесь! куриная слъпота на глазахъ
ващихь!»; «выводы твои гниль — они сдъланы безъ
Вога»; «только въ глупой свътской башкъ могла
образоваться такая глупая мысль»... На ряду съ
этимъ — совъты «дълать такъ, какъ думаю я»,
исполнять его волю «такимъ именно образомъ, какъ
я хочу», «раскусить хорошенько» его мнѣніе. Такъ
отсъкалъ Гоголь голову гидръ ношлости и мѣщанства...

Насколько самъ онъ въ это время завязъ въ мъщанствъ, лучше всего показываетъ изумительное письмо Гоголя: «Чёмъ можеть быть жена для мужа въ простомъ домашнемъ быту, при нынъшнемъ порядкъ вещей въ Россіи». Равновъсіе бюджетапоучаеть Гоголь -- цёль супружеской жизии и гарантія семейнаго счастія; поэтому всѣ деньги надо раздёлить «на семь почти равныхъ кучъ», причемъ въ первой кучъ будуть деньги на квартпру, во второй — деньги на столь, въ третьей — на экниажъ и лошадей, въ четвертой — на гардеробъ, въ пятой кучь - карманныя деньги, въ шестой - деньги на чрезвычайныя издержки («покупка новаго экипажа и даже (!) всномоществование кому-нибудь вашихъ родственниковъ»), наконецъ «седъмая куча — Богу», на церковь и бъдныхъ... Недурно и это... Дальше-еще лучше... «Сдёлайте такъ, чтобы эти семь кучь пребывали у вась несмѣшанными, какь бы семь отдёльныхъ министерствъ» — все это нужно для того, чтобы завести порядокъ въ дом'є; и въ такомъ учрежденіи бюрократическихъ порядковъ въ семьъ Гоголь видить основу прочнаго счастья. Наконецъ онъ достигаетъ апогея мъщанства, апогея филистерства и ношлости, заявляя: «даже и тогда, когда бы оказалась надобность помочь бёдному, вы не можете унотребить на это больше того, сколько находится въ опредъленной на то кучъ. Если бы даже вы были свидътельницей картины несчастія, раздирающаго сердце, и видъли бы сами, что денежная помощь можеть помочь, не смъйте и тогда дотрогиваться до другихь кучъ»,— въ этомъ случаъ Гоголь разръшаеть просить о помощи знакомыхъ (VII, 134)... Можеть ли духовное мъщанство идти дальше этого — не знаемъ; но приведенное выше мъсто — единственное въ своемъ родъ во всей русской литературъ.

IV.

Итакъ, перо публициста привело Гоголя въ трясину самаго пошлаго мѣщанства. Онъ и самъ въ концъ концовъ принужденъ былъ признать это. «Я размахнулся въ моей книгъ такимъ Хлестаковымъ, что не имфю духу заглянуть въ нее», -- пишетъ онъ Жуковскому; онъ поняль, наконецъ, что публицистика, проповъдъ- не его дъло: «искусство и безъ того ужъ поученье. Мое дёло говорить живыми образами, а не разсужденіями. Я долженъ выставить жизнь лицомъ, а не трактовать о жизни» (см. письма къ Жуковскому 6/Ш 1847 г., 29/ХІІ—10/І 1847—8 г. н др.). Такимъ образомъ Гоголь возвращается къ творчеству, но не отказывается отъ своей иден срубить голову гидръ мъщанства орудіемъ болье дъйствительнымъ, чъмъ его «неумолимый ръзецъ»; такниъ орудіемъ онъ выбираетъ дряблую кисть псевдо-романтическаго портретиста. Появляются на свъть Божій Улинька, Костанжогло, Муразовъ и прочіе эпическіе и лирическіе герои...

Еще въ первомъ томѣ «Мертвыхъ душъ» Гоголь объщалъ вывести впослъдствін на сцену героя,

«одареннаго божескими доблестями», русскую дьвушку, «какой не сыскать нигдъ въ міръ», пвообще объщаль нарисовать «несмътное богатство русскаго духа» (V, 224). И раньше Гоголь быль грѣшенъ тенденціей къ «ультра-романтизму»: если у него попадается красавица, то ужъ върно неописуемая; таковъ нехудожественный образъ панночки въ «Тарасъ Бульбъ» (извиняемый, впрочемъ, эпическимъ тономъ повъствованія); таково напыщенное описаніе красавицы Аннунціаты, въ которомъ Гоголь такъ печально состязается съ Марлинскимъ. Теперь, во второмъ томъ «Мертвыхъ душъ», эти задатки развились и дали плодъ сторицею. Гоголю казалось очень простымъ нарисовать своихъ блещущихъ всёми добродътелями героевъ по закону контраста съ типами мъщанъ перваго тома «Мертвыхъ душъ»; на дълъ это оказалось далеко не столь простымъ п легкимъ, и кончилось темъ, что Гоголь чуть-ли не впаль въ марлиновщину, такъ только у какъ Марлинскаго онжом найти подобную Hexyдожественность.

Красота Улиньки—несравненна, такого очертанія лица «нельзя было отыскать нигді»; поміщикъ Платоновь изумляеть необыкновенной красотой, это «Ахиллесь и Парись вмісті»; добродітельный кулакъ Костанжогло, придявь торжественное состояніе духа, сіяеть какъ царь: «какъ бы лучи исходили изъ его лица»; всі діти въ школі любять своего учителя, Александра Петровича, гораздо сильніе, чімь своихъ родителей «ніть, никогда не бываеть такой привязанности у дітей къ своимъ родителямъ. Ніть, ни даже въ безумные годы безумныхъ увлеченій не бываеть такъ сильна неугасимая страсть, какъ сильна была любовь къ нему»... Не говоримъ уже о лирическихъ изліяніяхъ Гоголя, нехудожественность которыхъ превышаеть всякую міру. Лиризмъ

быль, вирочемъ, всегда слабой стороной дарованія Гоголя, хотя самъ онъ (такъ же какъ и Бълинскій) полагаль, что лирическая сила имфется у него въ изобилін (VIII, 28). Тамъ, гдѣ Гоголь, особенно въ первыхъ своихъ разсказахъ, просто и безхитростно описываеть природу, у него иногда и прорывается лирическое чувство (напр., описаніе украинской ночи, отчасти описаніе степи въ «Тарасѣ Бульбѣ»). Уже описаніе сада Плюшкина и всколько искусственно, все же остальное-холодная и напыщенная реторика, шумиха фразъ, примфромъ которой можетъ служить пресловутое описаніе Днъпра, построенное по всемъ правиламъ теоріи словесности. («Чуденъ Днѣпръ»...). Неудачныя лирическія изліянія въ «Мертвыхъ душахъ» общензвъстны; лучшую характеристику понятія Гоголя о лиризм'є можеть дать его восхищение одами, ибо для него «ода есть высочайшее, величественнъйшее, полнъйшее и стройнѣйшее изъ всѣхъ поэтическихъ созданій». (XII, 10). Это говорилось въ 1846 г.! Величайшій изъ русскихъ реалистовъ отдавалъ такимъ образомъ дань литературному мъщанству исевдо-романтизма и псевдо-классицизма.

Въ разсудочномъ, холодномъ творчествъ Гоголя лиризма не было и быть не могло. «Поэзія, прости Господи, должна быть глуповата», говорилъ Пушкинъ (см. его письма, VII, п. 170), и этимъ парадоксомъ върно отмътилъ черту собственнаго творчества: онъ писаль не умомъ, а чувствомъ, творилъ воображеніемъ, а не соображеніемъ. Гоголь — наоборотъ. «Я никогда не писалъ портрета въ смыслъ простой коніи, — пишетъ онъ: — я создавалъ портретъ, но создавалъ его вслъдствіе соображенія, а не воображенія» (VIII, 32, IX, 192), и въ этомъ основная черта его творчества. Вотъ почему Гоголь всегда создавалъ типы, а не характеры, суммировалъ

(соображеніемъ) отличительныя и родственями свойн ства целой группы характеровь. Въ этомох дежний причина ръзкой выпуклости его типовъ, плозвон лившая одному изъ притиковъ соблать итеорию не-реальности, безжизненности этихиличиновищ(сми В. Розановъ, «Легенда о великомътинтвизитории); теорія эта, конечно, была бы вѣрна, чесличбы реализмъ былъ простымъ фотографированіемъ импересно замътить, что самъ Гоголь, въ предпеловинико вточ перваго тома: ск Мертвыхи душих; рому изданію извиняется передъ читателемъд футо прины помонтия фотографія! Въ другомъ м'єст'є одъ называеть зупе типы чудовищами и карикатурамислего изумийо, что «Пушкинь, который такь зналь Россію, незаметиль, что все это карикатура и моя собственцая выдумки!» (VII, 85). И Пушкинь, конечно, быль гораздолбожье правъ, чъмъ Гоголь, понимая, что ине же фотографичности жизненность пічто типъ не фотографіями

Но воть Гоголь полилать одинив упаремый пон разить пошлость мъщанства, панарисовать не марикатуры», а идеальныхъ людей... Здъсъ-то-и стерегла его ненавидимая имъ пошлостър пбо действителено свою жизнь не создально Готоль ничего пошите своихъ «одаренный что божестини» героевь въ родъ Костанжогио. Этотъ дебродътельный кулакъ ненавидить мъданство, разражается прилапіпикой противът раст. Евающаго Пеніянія прородовъ, произносить панегирант деревит, гдв предовыть идеть рядомънов природой», гочнотими рядомъ св природой значить і заниматься въ деревив кулаче: ствоиъ! И не видить Поголь того, что, заставлия Костанжогио беседовать съ такимъ неподдельнымъ удовольствіемь пев выжигой и мінцалиномъ принковымъ, онъ тъмъ самымъ и на своего картоннаго герся: налагаетъ пензгладимую печать. Устами Чити кова Гоголь выражаеть и свое митий, что Костамжогло—умитейшій въ Россіи человти. Но есть еще нткій добродьтельный откупщикъ Муразовъ, который ровно въ десять разъ умите Костанжогло, ибо капиталъ его равенъ сорока милліонамъ, въ то время, какъ у Костанжогло только милліона четыре (VI, 101; XII, 105)...

Пасторальная кисть привела такимъ образомъ къ
темъ же результатамъ, какъ и публицистическое
перо: оба они завлекли Гоголя въ болото безпросветнаго мещанства; и безсильный сломить пошлость однимъ ударомъ, самъ сломавшій свой "неумолимый резець", Гоголь остался безоружнымъ передъ
грозной гидрой мещанства. Онъ пытался бороться,
онъ искалъ спасенія въ пидивидуализме, въ религін,—но и тамъ стерегла его та же пошлость, то же
мещанство, одетое въ поповскую рясу и задранированное въ тогу индивидуализма.

V

Крайняя индивидуалистическая теорія самосовершенствованія и аскетизмъ на религіозной почвѣ не спасли Гоголя отъ болота мѣщанства. "Позаботься прежде о себѣ, а потомъ о другихъ; стань прежде самъ почище душою, а потомъ уже старайся, чтобы другіе были чище" (VII, 75, ср. 140—1), такова теорія самосовершенствованія у Гоголя, именно меорія, положенная во главу угла міровозарѣнія, а не только этическій принципъ. О теоріи этой мы будемъ подробно говорить въ главѣ, посвященной "эпохѣ общественнаго мѣщанства", восьмидесятымъ годамъ XIX-го вѣка; но уже и на примѣрѣ Гоголя можно видѣть, что крайній индивидуализмъ этой теоріи переходитъ въ свою противоположность и въ духовное мѣщанство, что здѣсь, какъ и повсюду,

0

крайности сходятся. Отъ этической нормы "человькъ—цъль" теорія самосовершенствованія незамътно переходить къ принципу "я—цъль"; изъ чисто этическаго принципа теорія самосовершенствованія дълаєть общественную программу, и вотъ отчего теорія эта почти неизбъжно сопровождается теоріей постепеновства и малыхъ дълъ (см. у Гоголя VII, 92—94; VIII, 47).

Все неприкрытое мѣщанство этой теоріп у Гоголя вскрывается ярче всего въ непосланномъ письмѣ Гоголя къ Бѣлинскому, въ блѣдиой попыткѣ отвѣта на дышащее жизнью, страстью и негодованіемъ письмо великаго критика земли русской.

Теорію самосовершенствованія Гоголь основывалъ на религіозной почвъ, на почвъ историческаго христіанства. Здівсь надо прежде всего подчеркнуть, что "черствый" и разсудочный Гоголь никогда не быль мистикомъ, никогда не стремился и не проникалъ онь "за предълы предъльнаго"; недаромъ Гоголь на религіозной почет такъ сошелся съ Жуковскимъ, ніетизмъ котораго носиль такой раціоналистическій характеръ. Разница въ томъ, что пістизмъ Жуковскаго быль меланхоличень, мягокь, окрашень въ полу-свътлые, съроватые тона, а аскетизиъ Гоголя быль тяжелымь, мрачнымь настроеніемь, не дававшимъ надежды на просвътъ. Для Жуковскаго смерть есть радостное возвращение погибшаго "гдв-то, въ знакомой, но тайной странъ", для Гоголя-смерть есть Страшный Судъ и геенна огненная, уготованная діаволу и аггеламъ его... И въ этомъ темномъ страхъ смерти передъ "загробнымъ величіемъ", быть можеть, и проскальзываеть нотка мистицизма; быть можеть, зерно мистицизма оплодотворилось бы въ Гоголъ и дало плодъ, если бы не его грубое, упрощенное пониманіе "загробнаго величія", таниства жизни и смерти, вообще всего христіанства. Нев'вжественный деревенскій попь, догматикь и раціоналисть о. Матвый, такь гибельно вліявшій на Гоголя, только безпощадно заглушиль въ душь его тоть ростокь мистицизма, который при иныхь условіяхь могь сдылать изъ Гоголя глубокаго мистика, а не того мрачнаго пістиста-ханжу, какимь онь оказался въ дыйствительности. И туть мыщанство было удыломь Гоголя...

Такъ трагически погибъ въ борьбъ съ мъщанствомь его величайшій сатирикъ. "Неумолимымъ ръздомъ" онъ безпощадно поражалъ пошлость, мъщанства во всю первую половину своей деятельности, но эти громадныя побъды надъ мъщанствомъ самому ему казались слишкомъ мелочными, ему хотелось покончить борьбу однимъ ударомъ. Это привело прежде всего къ жалкому мъщанству второго тома "Мертвыхъ душъ", а затъмъ къ безпросвътному мъщанству "Переписки", гдъ Гоголь думалъ поразить наголову это же самое мъщанство перомъ публициста или, какъ онъ самъ себя называетъ, вселенскаго учителя. Вмёстё съ этимъ мъщанство въ индивидуализмъ, мъщанство въ религи-повсюду, къ чему только ни прикоснется Гоголь. Изъбезсознательнаго сатирика эпохи оффиціальнаго мѣщанства онъ сталь сознательнымь апологетомь ея, и трагедія Гоголя въ томъ, что, погибая въ сътяхъ мъщанства, онь до конца жизни ненавидёль его, углубляль свою ненависть: быть можеть, и религіозный переломъ Гоголя, его quasi-мистицизмъ быль только слъдствіемъ признанія нуменальнаго значенія за мъщанствомъ жизни, этическимъ мъщанствомъ...

Какъ бы то ни было, но, сломавъ свой "неумолимый ръзецъ", оставшись безоружнымъ передъ мъщанствомъ, Гоголь погибъ. Мъщанство одержало новую и наиболъе блестящую побъду. Мы видъли, что литературное мъщанство было побъждено безъ особаго труда: Караманнъ, Жуковскій и Пушкинъ нанесли ему рядь ошеломляющихь ударовь, отъ которыхъ оно не воскресло. Пришелъ реализмъ. Но вмѣстѣ съ нимъ и

Adventavit asinus Pulcher et fortissimus,—

пришло въ русскую литературу и въ русскую жизнь могучее и сильное мъщанство этическое. Въ борьбъ съ этимъ мъщанствомъ жизни погибли одинъ за другимъ Пушкинъ и Лермонтовъ, погибли, но не были побъждены, погибли побъдителями. Судьба Гоголя была неизмъримо трагичнъе: онъ погибъ нобъжденный, взятый въ плънъ этимъ этическимъ мъщанствомъ, мъщанствомъ жизни, съ которымъ онъ ръзче всъхъ боролся и въ жизни и въ литературъ. Мъщанство побъдило, и написанныя въ эпоху гибели Гоголя произведенія Гончарова были ликующей пъснью торжествующаго мъщанства...

Гончаровъ.

I.

Гончаровъ—самое яркое воплощение духовнаго мъщанства въ русской литературъ. Безсознательный апологеть эпохи оффиціальнаго м'ящанства, сознательный проповъдникъ мъщанскихъ идеаловъ, онъ въ трехъ своихъ романахъ далъ евангеліе мъщанства, онь закрѣпиль и утвердиль то, что Гоголь стремился разрушить. Онъ соединиль въ себъ острое оружіе отточеннаго реализма съ апологіей тупого мъщанства, онъ изъ картониаго гоголевскаго Костанжогло попробоваль сдёлать идеальнаго живого мёщанина Штольца; и если онъ въ этомъ потериълъ фіаско, то лишь потому, что ивснь торжествующаго мъщанства была въ то же время лебединой его пъснью: пока Гоголь погибалъ, безоружный, въ неравной борьбъ. русская интеллигенція 30-хъ и 40-хъ годовь приступомъ взяла питадель мъщанства, подвела подкопъ подъ систему оффиціальнаго мѣщанства и громовой взрывъ шестидесятыхъ годовъ раздался какъ-разъ въ то время, когда Гончаровъ представиль русскому обществу своего Штольца во образѣ идеала человѣка и мѣщанина...

Гончаровъ смёло можеть быть названь проповёдникомъ мёщанскихъ пдеаловъ, глашатаемъ мёщанской морали, пдеологомъ мёщанства, несмотря на всю свою пресловутую "объективность", а отчасти и благодаря ей. Дёйствительно, онь относится ко всёмь своимь героямь "объективно", т. е., по его же собственному толкованію, безпристрастно и безстрастно, sine ira [I, 66 ¹], но это, какъ увидимъ ниже, отнюдь не исключаеть его ярко выраженной симпатіи ко всему мѣщанскому и не мѣшаетъ даже проводить свои чисто субъективные взгляды. Всѣ его излюбленные герои—Адуевъ, Штольцъ, Тушинъ—сугубые мѣщане; духомъ торжествующаго мѣщанства проникиуты насквозь всѣ произведенія Гончарова.

"Обыкновенная исторія" — первый романь Гончарова-появилась на самомъ рубежъ тяжелаго семилътія, въ началъ террора системы оффиціальнаго мъщанства, въ 1847 г. Гончарову было тогда уже подъ сорокъ лътъ; лучшіе годы своей жизни онъ прожиль подъ ферулою убивающей личность системы, и, самъ того не сознавая, вполит усвоиль принципы и идеалы оффиціальнаго м'єщанства. Какъ писатель, онъ въ совершенствъ овладълъ острымъ оружіемъ реализма, этимъ онъ понялъ, что только владъя жіемь, м'єщанство можеть стать опаснымь; болье того, въ своемъ романѣ онъ задался цѣлью осмѣять умирающій псевдо-романтизмъ, а свои мѣщанскіе пдеалы выставить съ оружіемъ реализма въ рукахъ противь осменныхъ романтическихъ пдеаловъ. Насколько ловко задуманнымъ и безупречно выполненнымъ оказался этотъ планъ, видно изъ того, что на удочку Гончарова попался даже Бълинскій. Въ ненависти противь отмпрающаго романтизма Бълпнскій шель еще дальше Гончарова; но Бълпнскій ненавидъль въ псевдо-романтизмъ его мъщанство, а что могъ ненавидъть въ немъ Гончаровъ? Онъ обратиль внимание на тъ черты племянника-Адуева, которыя вовсе не были характерны для романтика

¹⁾ Цитаты и ссылки по изданію 1899 г.

вообще—во всякомъ случай для романтика 40-хъ годовъ; онъ забыль, что со времени трагической кончины Владимира Ленскаго уже не мало воды утекло, и нарисоваль фигуру сентиментальнаго романтика.

Передъ нами сентиментальный романтикъ, наивный, чуть глуповатый и не вылощенный: вёдь онъ вскормленъ и воспитанъ глухой деревней, а не топsieur Abbè; въ первый періодъ своей жизни, до знакомства съ "безпощаднымъ анализомъ" дядюшки Адуева, онъ совершенно родствененъ Владимиру Ленскому (ср. "Обыкн. Ист."; гл. I, гл. II и "Евг. Он. "; гл. II, стр. VIII и сл.) Поздиве онъ приближается къ Онъгину и Печорину: послъ исторіи съ Наденькой онъ начинаеть "байронствовать", по выраженію его дяди; онъ разочаровань, онъ презпраеть женщинъ, онъ не въритъ въ любовь и пр., и пр. Но этотъ "демонизмъ" въ немъ чисто внтшній, для натуры Адуева-Ленскаго совершенно безпочвенный. Адуевъ перенимаетъ только внѣшніе пріемы (исторія съ Лизой): принимаетъ живописныя позы, устремляеть въ даль грустно задумчивый взоръ, говорить, что время любви для него миновало... Кажется, еще двъ-три черты и ему совершенно удастся закутаться въ тогу демонизма-но нътъ; время нечоринства миновало безвозвратно, и въ этомъ случав обмъщанившійся Мефистофель дёйствительно выглядываеть изъ-за "безпощаднаго анализа" дяди Адуева: онъ совершенно върно выситиваетъ въ илемянникъ обычную черту печоринства - ставить себя выше толпы, на что Адуевъ-Ленскій не имбеть ни права, ни основанія. Впрочемъ, это онъ и самъ сознаеть, почему начинаетъ ненавидъть не только людей, но и себя (II, 146), а это уже шагъ впередъ; еще одинъ шагъ-и изъ Адуева-младшаго, послъ этого кризиса, чогь выработаться типичный человъкъ 40-хъ годовъ,-

но на это у Гончарова не кватило связи съ общей жизнью историческаго момента, и онъ сдѣлалъ изъ илемянника экземиляръ № 2 дяди Адуева. На придуманность окончанія указалъ еще Бѣлинскій, называя эпилогъ романа "неудачнымъ и испорченнымъ"; въ этомъ сказалось характерное для Гончарова непониманіе эпохи, неумѣніе вникнуть въ обществен-

ныя теченія и настроенія.

Но не въ племянникъ-Адуевъ главное дъло; хотя онъ и занимаетъ первый планъ, но совершенно подавляется стоящей на второмъ планъ фигурою дяди—
положительнымъ типомъ романа. Племянникъ-Адуевъ
съ первой же встръчи съ дядей выставленъ съ такой
нельпой стороны, что. пожалуй, не трудно почувствовать симпатіи къ умному и "дъловому" дядъ. На
эту удочку попался Бълинскій, въ своемъ негодоніи противъ романтизма не замътившій отталкиванощаго мъщанства всей фигуры Адуева-старшаго,
котораго онъ находитъ "исполненнымъ ума и здраваго смысла".

II.

Дядя-Адуевъ дъйствительно человъкъ дъловой: "надо дъло дълать" — любимая его фраза (II, 8). Теперь эта фраза вызываетъ въ насъ улыбку, такъ какъ сейчасъ же приводитъ на память профессора изъ "Дяди Вани" Чехова, — эту "сухую воблу" и мъщанина во профессорствъ, съ той же фразой на устахъ. Конечно, быть можетъ, что смъщное теперь было вполнъ серьезнымъ болъе полувъка назадъ; по крайней мъръ самъ Гончаровъ относится къ Адуеву-старшему весьма почтительно, его мъщанскую банальщину онъ склоненъ считать безпощаднымъ анализомъ" (I, 166), въ то время какъ дядюшка

сплошь да рядомъ изрекаеть то трюнзмы, то мъщанскую мораль. Съ точки зрвнія Гончарова дядя Адуевъ является представителемъ труда и "живого дъла въ борьбъ съ всероссійскимь застоемь" (это живое дъло заключается въ фабрикъ дяди-Адуева); въ немъ мы якобы имфемъ "твердое сознаніе необходимости дъла, труда, знанія". Весьма почтенное сознаніе; но что мы видимъ на дѣлѣ? Передъ нами ясно и рельефно какъ и всегда у Гончарова-вырисовывается чиновникъ, кулакъ и мъщанинъ, считающій свой департаменть и бумаги — истиннымъ деломъ, секущій своихъ фабричныхъ и проповъдующій плоскую мъщанскую мораль. Это яркій представитель оффиціальнаго мѣщанства въ частной, домашней жизни. Основное его качество-безстрастіе, почти неизбъжное следствіе мещанской плоскости чувства; въ лице его замѣчалась ,,сдержанность, т.-е. умѣнье владѣть собой" (I, 120), и самь онь разсуждаеть объ этомъ своемъ качествъ съ настоящимъ самодовольствомъ мъщанина: "велика фигура-человъкъ съ сильными чувствами, съ огромными страстями! - изрекаетъ онъ:-мало ли какіе есть темпараменты? Восторги, экзальтація: туть человѣкь всего менѣе похожь на человъка и хвастаться нечъмъ. Надо спросить, умъеть ин онъ управлять чувствами; если умъеть, то и человѣкъ"...

Таковъ первый членъ его мѣщанскаго символа вѣры, который онъ излагаеть, что ы облить холодной водой "глупую восторженность" племянника. Второй членъ этого символа вѣры — узкій и холодный мѣщанскій эгоизмъ; общеніе съ людьми онъ понимаетъ только какъ дѣловыя отношенія по службѣ: по вечерамь—карты въ обществѣ солидныхъ людей, изрѣдка — дѣловой обѣдъ въ обществѣ непремѣнно почему-либо нужномъ: "что же даромъ-то кормить?" Понятно, что при такихъ воззрѣніяхъ на жизнь и людей дядя—

Адуевъ одпнокъ въ жизни: одпночество — частый спутникъ мѣщанскаго эгоизма. У Адуева-старшаго нѣтъ друзей, нѣтъ близкаго человѣка, онъ "никогда не сближался ни съ кѣмъ до такой степени, чтобы жалѣтъ"; по его мнѣнію, "надо воздерживать себя, не навязывать никому своихъ впечатлѣній, потому что до нихъ никому нѣтъ надобности". Сухой и черствый, дядя-Адуевъ представляетъ изъ себя лучшій экземиляръ разновидности эгопста-мѣщанина.

Взгляды этого мъщанина на жизнь — самые чиновничьи, самые мѣщанскіе. Выше всего въ жизни онъ ставить, разумиется, комфорть (І, 150); жизнь для него — это деньги и служебное положение, "карьера и фортуна", а кромъ этого все остальное ничто-недаромъ съ его точки зрънія жизнь есть озеро, полное грязи и тины. И ръшительно на все такой же мъщанскій взглядъ: талантъ для него есть капиталь, приносящій проценты; чімь больше проценты, темъ талантливее человекъ (І, 156); бъдность-порокъ, вызывающій омерзѣніе: "ѣсть, говорить, нечего, передразниваеть онъ воображаемаго бъдняка: - я говорить, женать, у меня, говорить, ужъ трое дътей, помогите, не могу прокормиться, я бъденъ", — и кладетъ свою резолюцію: "бъденъ! какал мерзость! Въ случав надобности дядюшка-Адуевъ готовъ пустить въ ходъ благородную мораль: "жениться по разсчету-это низко", - но не преминеть сейчась же добавить мораль мъщанскую: "но жениться безь разсчета — это глупо". Такъ онъ н женится не по разсчету, но и не безъ разсчета; любовь для него — миеъ, и недаромъ илемянникъ говорить, что въ жилахъ дядюшки "течетъ молоко, а не кровь". Жизнь для него ясна, размърепна и опредъленна; въ ней нътъ ни счастья, ни борьбы, ни волненій, а есть "просто жизнь, разділяющаяся поровну (замътьте себъ, непремънно поровну! - тоже характерный признакь для разм'єреннаго м'єщанина) на добро и зло, на удовольствіе, удачу, здоровье, покой, потомъ на неудовольствіе, неудачу, безпокойство, бол'єзни и проч... на все это надо смотр'єть просто".

Довольно всего этого, чтобы составить себѣ полное понятіе объ Адуевѣ-старшемъ; пропустимъ даже то, что онъ своимъ мѣщанствомъ загубилъ свою жену: п безъ этого добавочнаго штриха передъ нами стоитъ во всей своей красѣ типичная фигура мѣщанина, мѣщанина съ головы до иятъ, мѣщанина до малѣйшихъ деталей внѣшней и внутренней жизни. "Это какая-то деревянная жизнь, — скажемъ мы вмѣстѣ съ романтикомъ Адуевымъ-младшимъ:—прозябаніе, а не жизнь! прозябать безъ вдохновенья, безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви!"

Интересно отмътить, что въ эпилогъ Гончаровъ также испортиль фигуру дяди, какъ и племянника: изъ послъдняго онъ не сумълъ, вслъдствіе полнаго отсутствія связи съ общей жизнью историческаго момента, сдёлать типичнаго человёка 40-хъ годовъ; перваго же онъ зачёмъ-то счелъ нужнымъ въ концё романа смягчить, заставить хоть отчасти принести повинную въ своемъ мѣщанствѣ, въ своей деревянности. Дядя-Адуевъ на порогъ полученія чина тайнаго совътника выходить въ отставку, собирается ъхать въ Италію, и даже восклицаеть: "полно жить этой деревянной жизнью! "Наконецъ-то сознался! Все это весьма утъщительно и похвально, но, къ сожальнію, ньсколько поздно; уже поздно изьявлять желаніе "жить не одной головой"; поздно считать себя способнымъ къ жертвъ -- слишкомъ поздно, и хотя весьма добродътельно, но настолько же и маловъроятно. Самый типъ теряетъ отъ этого въ выдержанности, такъ какъ въ читателъ успъваетъ уже слишкомъ прочно вкорениться впечатление безпросветнаго

мъщанства Петра Ивановича Адуева, перваго положительнаго типа Гончарова.

Познакомившись съ дядей-Адуевымъ, вы невольно вспоминаете, что когда-то встрфчались съ нимъ уже и раньше, и не только съ однимъ Адуевымъ-старшимъ, но вивств съ тъмъ и съ его племянникомъ. Дъйствительно, они существовали еще за пятьдесять лъть до появленія "Обыкновенной Исторіп", и являлись тогда нодъ именами Леонида и Эраста, "чувствительнаго и холоднаго" -- изъ разсказа такого названія Карамзина. Вспомните этоть разсказь и мізщанскую философію Леонпда, который "стояль на томъ, что благоразумному человъку надобно въ жизни заниматься дъломъ" ("надо дъло дълать", слышали мы отъ Адуева), который сыпаль септенціями совершенно во вкусъ дяди-Адуева, въ родъ: "служба есть у насъ върнъйшій путь къ уваженію, а чины ходячая монета", и т. п., который, наконецъ, женился совершенно какъ дядя-Адуевъ, "чтобы избавить себя отъ хозяйственныхъ хлопотъ: женщина нужна для порядка въ домъ", -- вспомните все это, и вы убъдитесь, что еще сто лътъ тому назадъ (разсказъ Карамзина написанъ въ 1803 г.) и почти за полъ-въка до "Обыкновенной Исторіи" существоваль точный прототипь Петра Ивановича Адуева. Отсюда слъдуеть, что Адуевъ-старшій не есть всецёло результать эпохи оффиціальнаго м'єщанства; такіе типы существовали и раньше, хотя, конечно, эпоха оффиціальнаго м'єщанства создала удобную почву для пышнаго расцвъта сотень и тысячь такихъ Адуевыхъ. Но воть что создала эпоха оффиціальнаго мѣщанства: она создала возможность считать такого Адуева положительнымъ типомъ, въ чемъ былъ твердо убъжденъ Гончаровъ, въ чемъ повиненъ даже Бѣлинскій (впрочемъ только по ошибкъ).

При всей пошлости и плоскости Адуева-старшаго

типъ этотъ однако весьма широко захваченъ; если его имя не сдълалось такимъ же нарицательнымъ, какъ имя Обломова, то только потому, что на свою лѣнь и бездъятельность мы уже давно обратили вниманіе, а на свое мѣщанство—весьма и весьма недавно. А между тѣмъ, какъ типъ, Адуевъ-старшій нисколько не уступаетъ въ общности Обломову, и вполнѣ заслуживалъ бы новаго словообразованія «идусиции», какъ символа сухого и плоскаго мѣщанства эпохи величія бюрократіи и мундира, подобно тому какъ «обломовщина» является синонимомъ анатіи, бездѣ-ятельности и вообще растительной жизни. Эта анатія, эта пассивность и растительная жизнь—тоже особая разновидность мѣщанства; Гончаровъ коснулся ихъ въ своемъ второмъ романѣ.

III.

«Обломовъ» появился въ 1858 г., но время его написанія—именно эпоха 1848—1855 г.; въ этомъ романъ для насъ интересны два типа, изъ которыхъ опять одинь якобы отрицательный, другой положительный; мы поговоримь о нихъ ниже, а пока укажемъ на сильное, если не потрясающее, впечатлъніе, произведенное этимъ романомъ. Русское общество только-что начинало пробуждаться отъ тяжелаго кошмара эпохи оффиціальнаго мъщанства, когда предъ нимъ нарисовали ярко и рельефно фигуру Обломова, находящагося въ хронической спячкъ. Широта захвата и общность типа была такъ велика, что каждый россійскій гражданинъ, особенно умъренно либеральнаго оттънка на дълъ, хотя и безпощадный радикаль на словахь, могь признать свои основныя черты въ этомъ типъ; почти все русское «культурное» общество, за очень немногими псилюченіями,

сознало свое родство съ Обломовымъ; типъ этотъ сталъ символическимъ, Обломовка превратилась въ Россію. Все это сейчасъ же отмътилъ Добролюбовъ въ своей знаменитой статъъ «Что такое обломов-

щина»? (1859 г.).

Съ того времени прошло болъе полу-въка и мы теперь въ состоянии отнестись менте экспансиво и болье безпристрастно къ Обломову и обломовщинъиздали виднъе. И прежде всего надо спросить себя: законно ли расширеніе границъ Обломовки до предъловъ Россіи? Дъйствительно, аналогія очень соблазнительная! Представьте себѣ страну, въ которой «правильно и невозмутимо совершается годовой кругь», въ которой «все тихо, все сонно», «ни страшныхъ бурь, ни разрушеній не слыхать въ томъ краю», и даже грозы бывають точно по календарю: «и число, и сила ударовъ, кажется, всякій годъ одни и тъ же, точно какъ будто изъ казны отпускалась на годъ на весь край извъстная мъра электричества»... Все это очень похоже на Россію, мирно прозябающую въ до-севастопольскомъ снъ, видимо благоденствующую, но разъедаемую скрытымъ недугомъ системы оффиціальнаго мѣщанства. Но все-таки Обломовка-не вся Россія; слишкомъ узкими штрихами обрисована Обломовка, только на одну сторону вопроса обратиль внимание Гончаровъ.

То же самое можно сказать и про Обломова, которому Добролюбовъ придалъ слишкомъ широкое значеніе. Дъйствительно, что такое Обломовъ? Его можно охарактеризовать двумя словами: растительная жизнь. Это первый этапъ на пути мъщанства, но далеко еще не все мъщанство въ своей полнотъ. Въ немъ соединено много мъщанскихъ чертъ съ чертами мало свойственными мъщанству. Основная мъщанская черта растительной жизни Обломова — пассивность, переходящая въ анатію: трудно и скучно даже двигаться,

ходить; естественное, нормальное состояніе Обломова-лежанье. Эта же нассивность переходить и въ безстрастіе Обмомова, не чиновничье безстрастіе Адуева-старшаго, но безстрастіе растительной жизни: никакихъ страстей, никакихъ волненій; когда любовь нарушаеть такой мирный образъ жизни, то Обломовъ можеть только воскликнуть: «Господи! Зачёмь она любить меня? Зачёмь я люблю ее? Зачёмь мы встрётились?.. И что это за жизнь, все волненія да тревоги!» Идеалъ этой растительной жизни-мирное житіе, сытость и бездёлье: «жилъ бы безъ горя, безъ заботь, и прожиль бы въкъ свой мирно, тихо, никому бы не позавидоваль» («Обыкн. Ист.»; I, 100); прожить по этой трафареткъ-значить исполнить свое назначение.

Эта трафаретность, эта инертность и нассивность характеризують полную безличность растительпой жизни, какъ перваго этапа мъщанства; слабъе выражены (однако выражены) плоскость чувства и узость ума. Кромъ того въ Обломовъ иногда просыпается сознаніе, что уже совершенно недоступно чиновнику Адуеву; но какъ-разъ въ этомъ и все горе Обломова. Горе это онъ заглушаетъ «жалкими словами», которыя онъ такой мастеръ говорить, но это ему не всегда удается: въ немъ тщетно что-то пробивается изъ-нодъ коры растительной жизни, и если горе его не отъ ума, то оно, понечно, отъ сознанія. Отъ мъщанства Обломова отдёляеть кромѣ того широта размаха помъщичьей жизни. «Помъщичья распущенность, признаться сказать, намъ по душъ, --отмъчаетъ обще-русскую черту Герценъ: -- въ ней есть своя ширь, которую мы не находимъ въ мъщанской жизни Запада» («Былое и Думы»). «Нашей душѣ несвойственна эта среда, - еще ранве говориль Герценъ въ своемъ романъ «Кто виновать», о той же итщанской средъ Запада: — она не можеть утолять

жажды такимъ жиденькимъ винцомъ: она или гораздо выше этой жизни, или гораздо ниже-но въ обоихъ случаяхъ шире". Все это отъ слова и до

слова примънимо къ Обломову.

Итакъ, Обломовъ стоитъ на рубежъ между растительностью и мъщанствомъ; за это и казнить его умъренный и аккуратный авторъ, постоянно допекая его своимъ Штольцемъ, какъ лучшимъ образцомъ добродътельнаго мъщанства. Чтобы окончить съ Обломовымъ, отмътимъ еще, что Добролюбовъ захотълъ увидъть въ немъ типичнаго представителя лишнихъ людей, находя въ немъ печоринскій и рудинскій элементы и безплодное стремление къ дъятельности. Добролюбовъ правъ только отчасти, и совершенно неправъ въ своемъ смѣшеніп мѣщанъ п лишнихъ людей. Дъйствительно, и лишніе люди и мъщане имъють много общихъ черть, но мы увидимъ также, что они имъютъ не менъе ясныя раздълительныя черты. Обломову до лишнихъ людей какъ до звъзды небесной далеко. Онъ стоить на рубежъ растительной жизни и мъщанства; если бы ему удалось благополучно перейти этоть первый этапъ, то всъ его шансы къ тому, чтобы стать полнымъ и образцовымъ мъщаниномъ, положительнымъ типомъ Гончарова, уменьшенной копіей добродътельнаго героя Штольца. Интересно, что Гончаровъ относится къ Обломову двойственно: насколько Обломовъ еще не успъль сделаться мещаниномь, настолько авторь относится къ нему отрицательно, вполнъ презирая его растительную жизнь; насколько Обломовъ мъщанинъ, настолько симпатизируеть ему Гончаровь, въ которомъ многіе (и самъ онъ) не безъ основанія отмічали обломовскія черты (см. IV, 262п сл.; V, 65 п S1 и т. п.). Къ Штольцу же Гончаровъ относится съ совершеннымъ почтеніемъ; въ этомъ лицѣ онъ полиѣе всего выразиль свои симпатій и идеалы.

IV.

Штольцъ — отчасти продолженіе, отчасти переработка и дополненіе нашего знакомаго — дяди-Адуева; Штольцъ — вёрный и истинный сынъ эпохи оффиціальнаго мёщанства; на немъ легче всего прослёдить, какъ кроила людей по своему шаблону эта убивающая личность эпоха. Передъ нами — ни холодный, ни горячій, ровный, средній человёкъ; умёренность и аккуратность ему такъ же свойственны, какъ вывёренному хронометру; онъ въ мёру либераленъ, въ мёру консервативенъ; онъ человёкъ дёловой, также какъ и его старшій родственникъ Петръ Ивановичъ Адуевъ. Впрочемъ, мы предоставимъ характеризовать Штольца самому Гончарову,

Для Гончарова Штольць— «представитель труда, знанія, энергін— словомъ, силы», также какъ и Адуевь-старшій быль представителемь «живого дѣла». Подобно Адуеву, Штольцъ сдержанъ, размѣренъ и течень, какъ часовой механизмъ: «движеній лишнихъ у него не было. Если онъ сидѣлъ, то сидѣлъ покойно, если же дѣйствовалъ, то употреблялъ столько мимики, сколько было нужно» (!); внутренній его міръ построенъ по такому же образцу: «кажется, и печалями и радостями онъ управлялъ, какъ движеніемъ рукъ, какъ шагами ногъ». Стремленіе эпохи оффиціальнаго мѣщанства обратить всѣхъ гражданъ въ механизмы достигло въ Штольцѣ самыхъ блистательныхъ результатовъ.

Мъщанскіе идеалы Штольца недалеко ушли отъ растительныхъ идеаловъ Обломова; по мнънію Штольца— «нормальное назначеніе человъка прожить четыре времени года, т.-е. четыре возраста, безъ скачковъ, и донести сосудъ жизни до послъдняго дня, не проливъ ни одной капли напрасно...

Ровное и медленное горъніе огня лучше бурныхъ пожаровъ, какая бы поэзія ни пылала въ нихъ». Само собою разумъется, что такая точка зрънія на жизнь не оставляеть мъста мучительнымъ сомнъніямъ, болъзненнымъ надрывамъ: все такъ ясно, понятно, потому что все такъ узко и плоско. "Не видали, чтобы онъ (Штольцъ) задумывался надъ чёмъ-нибудь болъзненно и мучительно» -- конечно нътъ, такъ какъ для мѣщанина въ его аккуратно размѣренной жизненной программъ нътъ мъста для мучительныхъ запросовъ; такой мъщанинъ-и Штольцъ первый нзъ нихъ- не столько человъкъ, сколько приходо-расходная книга; онъ и физически и нравственно живетъ по бюджету, "стараясь тратить каждый девь, какъ каждый рубль, съ ежеминутнымъ, никогда недремлющимъ контролемъ издержаннаго времени, труда, силь души и сердца»; это какая-то ходячая двойная бухгалтерія, подводящая балансь и стремящаяся къ «равновёсію практических сторонь съ тонкими потребностями духа». Не удивляйтесь: у мъщанина могуть быть тонкія потребности духа. Послѣ хорошаго объда мъщанинъ любитъ послушать хорошую музыку; иногда онъ ценитель стараго фарфора, картинъ, иногда онъ нумизматъ- но все въ мъру, все на своемъ мъстъ. Вотъ въдь и дядюшка Адуевъ «знаеть наизусть не одного Пушкина... любить искусства, имъетъ прекрасную коллекцію картинъ», что не мѣшаетъ однако ему быть мѣщаниномъ съ головы до пять.

До сихъ поръмы видёли, что Штольць ярляется какъ бы вторымъ обновленнымъ, дополненнымъ и усовершенствованнымъ изданіемъ Петра Ивановича Адуева, но, конечно, между ними есть и существенная разница. Вёдь какъ-никакъ, а между ними лежитъ болёе десятилётія, и мёщанство Штольца поневолё пріобрёло новый более современный оттъ-

нокъ. Прежде всего Штольцъ гераздо отнолированнье своего собрата по мещанству, гораздо "благовоспитаниве", гораздо сдержаниве ивсколько грубоватаго дядюшки; какъ онъ мъщански сдержанъ даже въ тоть моменть, когда всякій другой на его мъсть въроятно хоть нъсколько вышель бы изъ нормы! Штольцъ объясняется въ любви Ольгъ: какъ комично вмъсто "ангелъ мой" говорить онъ любимой дъвушкъ "ангелъ-позвольте сказаль-мой"! Конечно, это мелочь, но какъ великолъпно эта мелочь характеризуеть излюблениаго гончаровского героя! Даже у дядюшки Адуева мы не найдемъ такого перла умъренности и сдержанности. Но разница между мъщанствомъ Штольца и Адуева идетъ и дальше: Штольцъ — прогрессистъ, Штольцъ — либераль, конечно, въ мъру; онъ уже не съчеть своихъ фабричныхъ, а разсуждаетъ на ту тему, что-де для народа весьма полезна грамотность, ибо грамотный мужикъ будетъ читать о томъ, какъ нахать--конечно, помъщику еще и выгода! II только?--- п тольке... Но какъ бы ни были узки веззръція Штольца, онъ все-таки гораздо лучше вооружевъ, Адуевь; у него взглядь зорче, смотрить онъ дальше. Онъ задается даже вопросомъ о цфин своей жизни, о цели жизни вообще; онъ твердо знаеть, что жить надо "для самаго труда, больше ни для чего. Трудъ-образъ, содержаніе, стихія и цёль жизни". Трудъ какъ цёль жизни-это, конечно, полная антитеза Обломову съ его лежачими, растительными идеалами; но какое безпросвътное духовное мъщанство заключено въ пдеалахъ Штольца! Вноследствін и у Чехова, и у Горькаго встретится эта же самая мысль ("Три сестры" и "Оома Гордбевъ"), что въ работъ, въ трудъ-смыслъ человъческой жизни; но у Чехова его страдающие страхомъ жизни героп хватаются за трудъ только какъ за анестезирующее средство, а у Горькаго въ концъ концовъ ръшительно осуждается мысль, что трудъ можетъ быть цълью жизни: "это невърно, что въ трудахъ оправданіе!" У Штольца же ни на одну секунду не является раздумья, что трудъ можетъ быть только средствомъ, что трудъ является только формой въ которую можетъ быть втиснуто любое содержаніе.

Итакъ, отъ Адуева къ Штольцу мъщанство подверглось эволюціп: изъ консервативно-чиновничьяго, безхитростно-эгоистичнаго, практическаго, оно стало превращаться въ теоретпческое, умфренногуманное и либеральное; въ немъ больше сознанія, оно итсколько шпре по формамъ, сохраняя прежнее содержаніе. Точно воздушный шаръ поднялся нъсколько выше: газъ расширился, оставаясь въ прежней массъ, хотя и сталь ръже, проницаемъе. И мъщанство Штольца стало гораздо проницаем ве для въяній времени, сравнительно съ тупымъ, деревяннымъ мъщанствомъ чиновника-фабриканта. Но ни проницаемость эта, ни ростъ сознанія не могли довести Штольца до тъхъ границъ, до тъхъ вопросовъ, съ которыхъ начинается разложение духовнаго мъщанства "Проклятые вопросы" отскакивають отъ него какъ горохъ отъ стъны, а когда жизнь погружаеть его въ нихъ съ головой, то они стекаютт съ него, какъ съ гуся вода, и онъ выходить изт нихъ попрежнему сухимъ мъщаниномъ.

Воть характерный случай. Послъ нъскольких лъть счастливаго прозябанія со Штольцемь, жена его, Ольга, начинаеть скучать: "вдругь какь будто найдеть на меня что-нибудь, какая-то хандра,— жалуется она мужу:—мнъ жизнь покажется... какъ будто не все въ ней есть". Ольга сама не понимаеть, что это съ нею творится, а Гончаровъ, конечно, не позволяеть ей догадаться, что хандра ея есть не-избъжная реакція живого человъка противъ мертвя-

щей суши духовнаго м'єщанства, что д'єйствительно (а не "какъ будто") въ ен жизни "не все есть", что она жила все время жалкой, половинной жизнью. По теперь съ ен глазъ спадаетъ завъса; она смотрить на свою жизнь, вспоминаеть прошлое, заглядываетъ въ будущее-и съ ужасомъ спрашиваетъ сама себя: "что же это? ужели еще нужно и можно желать чего-нибудь? Куда же идти? Некуда! Дальше нъть дороги... Ужели нъть, ужели ты совершила кругъ жизни? Ужели тутъ все... все... Ольга задыхается въ болотъ духовнаго мъщанства. Неужели вся ея жизнь пройдеть въ этой затхлой атмосферъ умфренности и размфренности, какъ-разъ въ то время, когда отмираеть система оффиціальнаго мъщанства, когда новая жизнь закипаеть вокругъ? А все это пройдеть мимо нея: добродътельнаго мъщанина Штольца величайшія соціальныя движенія могуть занимать только теоретически; онъ не прочь поговорить о нихъ въ свободную минуту, развить теорію постепеновства, утѣшить Ольгу чѣмъ-нибудь въ родъ замъчательнаго пзреченія самого Гончарова, что, моль, "крупные и крутые повороты не могуть совершаться какъ перемъна платья, они совершаются постепенно"... Удовлетворится ли Ольга этой противоръчащей всякой логикъ теоріей о постепенности крутых поворотовъ (!)? Во всякомъ случать сама Ольга стоить еще на точкъ поворота; она еще стыдится своихъ недоумъній и вопросовъ: "что-жъ это... счастье... вся жизнь...-говорить Гона: - всѣ эти радости, горе... природа... все тянетъ меня куда-то еще; я делаюсь ничемъ недовольна"...

Что же можеть отвътить на все это мъщанинъ Штольць? Отвъть его можно предвидъть заранъе; это тоть самый отвъть, который мъщанство всегда давало на всъ "проклятые вопросы" жизни: оно зажимало уши, закрывало глаза и старалось увърпть

себя, что лишь слёные, глухіе и безумные могуть сомнёваться въ томь, что въ мёщанской жизни все обстоить благополучно. Поэтому прежде всего Ольгё... надо полечиться: "кажется, надо опять купаться въ морё.. Можеть быть, въ теб'в проговаривается еще нервическое разстройство: тогда докторь, а не я, рёшить что съ тобой"... Если же купаніе въ мор'в не разрёшить "проклятыхъ вопросовъ", то единственное спасеніе—сдаться имъ на капитуляцію: "мы не Титаны съ тобой, — говорить Штольцъ Ольг'в, —мы не нойдемь съ Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу съ мятежными вопросами, не примемъ ихъ вызова, склонимъ головы"...

Таково специфически мъщанское разръшение проклятыхъ вопросовъ; и такимъ разрѣшеніемъ характеристика духовнаго мъщанина получаеть последнюю черту, последній ударь резца. Здёсь песнь торжествующаго мъщанства звучить fortissime, упраздняя навъкъ всъ запросы, лежащіе за кругозоромъ мъщанства, фиксируя какъ необходимое всъ мъщанскіе идеалы, всъ воззрънія мъщанства на жизнь и на человъка. Въ типъ Штольца Гончаровъ достигъ высшей точки мъщанства и тъмъ рельефнъе оттъпиль мъщанство своего героя, чъмь болъе желаль нарисовать типъ положительный; это желаніе привело кь безжизненности типа, къ тому, что изъ-за него (по собственному признанію Гончарова) "слишкомъ голо выглядываеть идея", идея превознести и препрославить духовное мъщанство, сдълать его единственно возможной идеологіей достойнаго и добродътельнаго человъка... Но на этомъ fortissime пъсни торжествующаго мъщанства голосъ Гончарова сорвался.

Надо замътить, что Штольцъ является внъшне однимъ изъ наименъе антипатичныхъ героевъ мъщанства, – по крайней мъръ Гончаровъ сдълалъ все

для того, чтобы пріукрасить своего возможное любимца. Онъ даль ему, или по крайней мъръ пытался дать, нъкоторыя свойства и качества несомнѣнно положительныя, напримѣръ, силу, энергію, активность, - но эти качества направлены Штольцемъ на узкую и однобокую цёль: онъ можетъ учетверить свои капиталы, повысить втрое ходность имфнія, настойчиво стремиться къ знаніютакъ какъ знаніе дасть ему деньги и комфортъ. Всъми этими качествами обладалъ въ еще большей степени Алексъй Степанычъ Молчалинъ; изъ одного этого примъра можно было бы убъдиться, что положительныя качества, направленныя на отрицательную цёль, приводять человёка къ весьма плачевнымъ результатамъ. Мъщанскіе идеалы Штольца заглушили собой возможныя положительныя стороны его характера; внъ своей мъщанской цъли Штольцъ пассивенъ и безсиленъ; это нагляднъе всего проявилось въ эпизодъ съ Ольгой: Штольцъ предлагаетъ ей смириться передъ жизнью, сознать свое безсиліе, "мы не Титаны".... Но въдь и не нужно быть титаномъ для борьбы съ житейской пошлостью, достаточно только не быть мѣщаниномъ. Этого не можеть понять alter едо Гончарова, Штольцъ; эпоха оффиціальнаго мъщанства воспитала его въ своихъ узкихъ рамкахъ, и онъ теперь передъ жизнью способень только "не разсуждать — повиноваться". Передъ нами необходимое слъдствіе и очевидный результать угнетавшей личность эпохи — эпохи оффиціальнаго м'єщанства второй четверти XIX-го въка.

V.

Въ Адуевъ п Штольцъ ясно выразилось, какихъ разитровъ достигло мъщанство въ русской лите-

ратурт эпохи 1825—1855 гг. Мы могли бы ими покончить наше знакомство съ мъщанскими типами романовъ Гончарова; но есть еще одинъ типъ въ последнемъ романт Гончарова, въ "Обрывт". Романъ этотъ ноявился въ 1869 г., но писался въ теченіе цёлыхъ 20-ти лътъ; мы скажемъ только два слова объ общемъ фонт романа и о типт мъщанина, нисходящаго родственника Адуевыхъ и Штольцевъ.

На общемъ фонѣ романа выдѣляются интересныя фигуры бабушки, Мареиньки, Козлова, Крицкой; вся жизнь провинціальнаго города служить этимъ фономъ. Здѣсь все та же растительная жизнь, что и у обломовцевъ. Бабушка также любить задать пиръ горой, также довольствуется "жизненной мудростью", точно кунленной на вѣсъ; однако отъ обломовцевъ бабушка отличается своей дѣятельностью: она весь день въ работѣ; она не териитъ "лежебокъ". Она согласна съ Адуевымъ и со Штольцемъ, что "надо дѣлатъ" и что "трудъ—цѣль жизни"; вѣдь она сама "вѣкъ свой дѣлала дѣло, и если не быле, такъ выдумывала его".

Въ лицъ бабушки мы имъемъ постепенный переходъ отъ растительной жизни къ мъщанству; въ
этомъ отношении она стоитъ между Обломовымъ и
Штольцемъ, являясь какъ бы "среднимъ пропорціональнымъ" между ними.

Не въ бабушкъ теперь, впрочемъ, дъло; интереснье отмътить, какъ все, къ чему ни прикасается Гончаровъ, немедленно принимаетъ окраску самаго сугубаго мъщанства. Такъ, напримъръ, даже изътипа ужаснаго нигилиста Марка Волохова, долженствовавшаго по замыслу автора служить нравоучительнымъ примъромъ, къ какимъ пагубнымъ результатамъ приводитъ протестъ противъ мъщанства, даже изъ этого типа Гончаровъ ухитрился сдълать чистокровнаго мъщанина. Нашъ умъренный и аккуратный

авторъ употребляль вст усплія, чтобы нарисовать по закону контраста съ благоприличнымъ мъщанствомъ діаметрально противоположный тиль нигилиста; и чты невтроятные и комичные вышель послыдній типь, тъмъ яснъе мъщанскія потуги добродътельнаго автора. Онъ заставляетъ своего Волохова закуривать сигары вырваннымъ изъ книги листомъ, прыгать по принципу черезъ заборы и въ окна, когда свободенъ проходъ въ ворота и дверь: этимъ выражается его свобода отъ "правиль" и "долга", столь любезныхъ мъщанскому сердцу Гончарова. Онъ не сообразилъ, что его ужасный ингилисть вышель такимъ же узкимъ мъщаниномъ, какъ и самые мъщанские его герон, нбо развъ это по существу не узкая мъщанскан мораль, по которой порядочный человъкъ только тоть, кто лазить черезъ заборы? Перефразируя слова Герцена, можно сказать, что отрицание шаблона во что бы то ни стало-тоже шаблонъ своего рода. Правда, Волоховъ пе до конца отрицаетъ шаблонъ, пбо какъ-разъ конецъ-то его самый шаблонный: ужасный нигилисть вдругь проникается раскаяніемъ и просится на Кавказъ въ юнкера! Въ этомъ неожиданномъ нассажь, какъ солнце въ малой каплъ водъ, отразилось все безсиліе м'єщанина автора построить типъ не мъщанскій: не съ того, такъ съ другого конца у него все-таки получится мъщанинъ...

Волоховъ — бука, назначение котораго пугать всёхъ добродётельныхъ мёщанъ; на лбу у него роковыя слова; воть до чего можеть довести отрицацие духовнаго мёщанства!

Смотрите,—вотъ примъръ для васъ: Онъ гордъ былъ, не ужился съ нами!..

Полная противоположность ему—Тушинъ, пай-дитюш, съ котораго всъ могутъ брать примъръ. Подобно Петру Ивановичу Адуеву и Андрею Ивано-

вичу Штольцу (почему-то всѣ излюбленные мѣщанскіе героп Гончарова непремънно шаблонные "Ивановичи"), Иванъ Ивановичъ Тушинъ тоже "дъловой человъкъ", человъкъ "новаго дъла" (Х, 275; І, 74-75). Въ чемъ это новое дъло, Гончаровъ не объясняеть, но не трудно видъть, что это новое дъло - очень старое дъло, которымъ занимались и Адуевь, и Штольцъ. "Тушинъ давно уже хозяйничаеть у себя въ пивнін на раціональныхъ началахъ хозяйства и строгой справедливости"-ужъ очень это не ново; это возводить насъ черезъ Штольца къ Костанжогло, у котораго въдь тоже можно научиться "мудрости управлять труднымь кормиломь сельскаго хозяйства, мудрости извлекать доходы върные, пріобрътать имущество не мечтательное, а существенное"... Другое новое дъло Тушпна заключается въ томъ, что онъ завелъ въ своемъ именіи "что-то вь родъи правительной полицін (!) для разбора мелкихъ дёль у мужиковь "; это тоже очень старо, такъ какъ роднить Тушина съ Гоголевски иъ цолковни-Кошкаревымъ, который тоже учредиль въ комъ своемъ имъніи "Комптеть сельскихъ дъль". Во всемъ остальномъ Тушинъ тоть же Штольцъ подъ нѣсколько инымъ соусомъ, это "то же-иначе" приготовленное. Въ немъ мы опять встръчаемся "съ твердостью, почти методическою, намфреній и постуаковъ", находимъ "ненарушимую правильность взгляда", видимъ "равновъсіе силы ума съ суммой тъхъ качествъ, которыя составляють силу души и воли"; мы узнаемъ, что въ Тушинъ кроется "безсознательная, природная, почти непогрышительная система жизни и дъятельности", что въ немъ "ничто не выдается, не просптся впередъ, не сверкаетъ, не осабиляеть". Однимъ словомъ-плоскость совершеннъйшая. И когда мы слышимъ, что Тушинъ "былъ "человъкъ", какъ коротко и върно опредълила его умная и проницательная Въра", то невольно думаемъ, что умная и пропицательная Въра сама была полу-мъщанкой (это тоже можно было бы безъ труда доказать), и что только потому она могла дать шпрокое, всеобъемлющее званіе "человъка" раг excellence плоскому духовному мъщанину, жалкой помъси Костанжогло, Кошкарева и Штольца.

Адуевь, Штольць, Тушинь—это заключительное трезвуче пъсни торжествующаго мъщанства. И что это быль бы за ужась, если бы Гончаровь оказался правь, если бы въ Штольцахъ и Тушиныхъ лежала

вся будущность Россіп! (Х, 275).

Мы познакомились теперь съ главными героямимъщанами Гончарова и надъемся избъкать упрека въ замалчиваніи исихологической стороны развитія этихъ типовъ; дъйствительно, насъ интересуютъ только общія причины расцвѣта мѣщанства въ русской литературъ, и мы оставляемъ совершенно въ сторонв тоть, напримърь, факть, что самь Гончаровь отчасти объясняеть некоторыя съ нашей точки зрѣнія мѣщанскія черты и свойства Штольца его воспитаніемъ и условіями его жизни. На эту частность мы не обращаемъ вниманія; мы ясно видимъ, что здёсь дёло вовсе не въ Шгольцё, а въ самомъ Гончаровъ: мъщанинъ-авторъ воплощалъ въ своихъ типахъ свои мъщанскіе идеалы, въ свою очередь явившіеся слъдствіемъ системы и эпохи оффиціальнаго мъщанства.

Постараемся пзбъжать довольно частой ошибки смѣшиванія автора съ типами его пропзведеній, яркимъ примѣромъ чего было въ свое время отношеніе Писарева къ Евгенію Онѣгину и къ Пушкину. Имѣемъ ли мы право говорить о мѣщанствѣ Гончарова? Дѣйствительно ли онъ является проповѣдникомъ мѣщанскихъ идеаловъ, дѣйствительно ли въ Адуевѣ, Штольцѣ и Тушинѣ воплощены его взгляды, его стремленія? Чтобы выяснить все это, обратимся теперь уже не къ героямъ Гончарова, а непосредственно къ нему самому; у насъ въдь есть такой богатый матеріалъ, какъ его дневникъ-письма 1852—1854 гг., вышедшія подъ заглавіемъ "Фрегатъ Паллада" и веденныя въ продолженіе почти трехлѣтняго кругосвѣтнаго путешествія. Интересно посмотрѣть на человѣка въ такой мало обычной для него обстановкѣ: чего же отъ него ждать, если онъ и здѣсь окажется мѣщаниномъ? А Гончаровъ оказывается таковымъ п въ этомъ экстраординарномъ случаѣ!

VI.

Представьте себъ, что чиновникъ Адуевъ былъ бы посланъ въ кругосвътное путешествіе по казенной надобности; посадите его на "Фрегать Палладу", давайте ему литературный талантъ Гончарова — и вы получите ту "адуевщину", которая сказалась въ письмахъ и дневникъ нашего автора. Васъ не удивить тогда, что Гончаровъ-Адуевъ задачей прогресса считаеть комфорть и глубокомысленно замъчаеть: "вопросъ этотъ важнъе, нежели какъ кажется съ перваго раза" (V, 345; ср. I, 150); задача цивилизацін-"вогнать" ананась на сѣверѣ въ пятакъ, п вь этомъ отношеніи "прогрессъ сділаль уже много побъдъ". Комфорть — богъ Адуева: пріъхавъ на почти необитаемые острова Бонинъ-Сима, Адуевъ не хочетъ съжзжать на берегъ-ибо какъ тамъ объдать? въдь тамъ ни стульевъ, ни столовъ!" Отношеніе Адуева къ природъ не трудно предугадать заранъе: очевидно, что Адуевь не обладаеть ни единой каплей чувства единенія съ природой, лиризмъ у него отсутствуетъ совершинно: недаромъ за три года путешествія п плаванія по казенной надобности вы найдете у него всего три-четыре десятка страницъ, посвященныхъ описанію природы.

Согласитесь, что это очень характерно. Человивь

новхаль вокругь свъта, но прпрода его мало интересуеть: въдь въ природъ царить такой безпорядокъ! То ли дело, напримерь, зайти въ Ботаническій садъ гдъ-нибудь въ Африкъ, въ Капштадтъ и сразу осмотръть все разсаженное въ порядкъ: "что за наслажденіе этотъ садъ!..-восхищается Адуевъ: -- все разсажено въ порядкъ, посемейно"... Или вотъ, наприифръ, тропическій лісь въ Анжері: "туть пальмы, какъ по обдуманному плану перемъщаны съ кустами... какая оригинальная красота! Она (пальма) граціозно наклонилась; листья, какъ длинные, правплыными рядами расчесанные волосы... Все кажется убрано заботливою рукою человъка"... Правда, тутъ же Адуеву захотълось и "поэтическаго безпорядка", т.-е. опятьтаки безпорядка правильнаго и прилизаннаго. И повсюду все размъренное, аккуратное, подведенное подъ одинъ шаблонъ радуетъ сердце чиновника эпохи оффиціальнаго мѣщанства: то онъ обращаеть свое вниманіе на дерево, которое "точно щеголевато острижено", то любуется садомъ, въ которомъ растенія расположены "какъ картины въ галлерев", то съ любовью описываеть, какъ "дерево къ дереву, листокъ къ листку такъ и прибраны, не спутаны, не смъщаны въ неумышленномъ безпорядкъ и т. п., н т. п. Конечно, все это можеть быть красивымъ, но находить красоту только въ этомъ одномъ-въ высокой степени характерно для Адуева-Гончарова.

Быть можеть, однако, еще характернее его отношеніе къ морю, къ этой капризной стихіи, которую никакъ не втиснешь въ границы умеренности и аккуратности; деревья можно хоть щеголевато подстричь или разсадить какъ картины въ галлерее, на радость мещанскому сердцу, а съ моремъ этого не сделаешь... Нашъ чиновникъ, плавающій по казенной надобности, относится къ морю весьма благодушно, даже съ любовью, если море тихо, если

правильная, размъренная зыбь чуть колышеть порабль; но лишь только начинается хотя бы небольшое волнение, Адуевъ приходить въ скверное настроеніе дука и видить вокгугъ себя только "уродливые бугры съ пъной и брызгами". Въ Индійскомъ океант "Фрегать Палладу" встрттиль такой штормъ, котораго Адуевъ еще ни разу не видала; однако онъ спокойно сидель на своемь комфортабельномь, уютномъ и тепломъ мъстъ въ каютъ и не шелъ на палубу. "Штормъ быль классическій, во всей формъ. повъствуетъ Адуевъ: -- въ теченіе веч-ра приходили раза два за мной сверху, звать посмотрѣть его; но какъ на мое покойное и сухое мъсто давно уже было три или четыре кандидата, то я и хотклъ досидъть тутъ до ночи ... Наконецъ нашего мъщанина чуть не силою вытащили на палубу. "Я посмотрѣлъ минуть пять на молнію, на темноту и на волны, которыя все сплились перелъзть къ намъ черезъ бортъ. — Какова картина? -- спросилъ меня капитанъ, ожидая восторговъ и похвалъ. — Безобразіе, безпорядокъ! отвѣчалъ я, уходя весь мокрый въ каюту, перемѣнить обувь и бълье". Что сказать послъ этого? Въ добрыя старые времена примфромъ "высокаго", "du sublime" считалось знаменитое "qu'il mourût!" отца трехъ Гораціевъ; но это адуевско-гончаровское "безобразіе, безпорядовъ!" не съ равнымъ ли правомъ можеть считаться примъромъ "sublime" въ мъщанствъ? "Выше" этого мъщанство никогда ничего не создавало...

Я не путешествоваль, я плаваль «по казенной надобности», — сознался впоследствій, «черезь двадщать лёть» самь Гончаровь, и никогда въ жизни онь не сказаль ничего более справедливаго. Своимъ дневникомъ и письмами изъ путеществія онъ докаваль, что между нимъ и его мещанскими героями можно съ уверенностью поставить знакь равенства, что самь онъ такой же мещанинь, какъ Адуевь,

Штольць и Тушинъ вмёстё взятые. Письма и путевыя впечатлёнія Гончарова по своему значенію діаметрально противоположны «Ппсьмамъ русскаго путешественника» Карамзина: тё были началомъ борьбы съ литературнымъ мёщанствомъ, эти—наобороть фиксированіемъ въ художественномъ словѣ идеаловъ духовнаго мѣщанства. Гончаровъ, сказали мы, это идеологъ духовнаго мѣщанства, его романы—это пёснь торжествующаго мѣщанства, сломившаго такихъ титановъ мысли и чувства, какъ Пушкинъ.

Лермонтовъ и Гоголь.

Гончаровъ какъ будто предчувствоваль, что впослъдствін его типы будуть объяснены его же собственной личностью. Это его возмущало. Надо довольствоваться тъмъ, что далъ авторъ своими тинами, говорить Гончаровь, и негодуеть, что этимъ не удовлетворятся критики и историки литературы: «начнуть добираться, каковъ быль самъ деятель, разбирають связь писателя или художника съ его произведеніями, согласень ли его характерь, нравственныя свейства съ тъмъ, что имъ выражено, и почему, и какъ?» (П, 232; «Нарушение воли»). Мы уже питли случай указать, что это взглядь глубоко невърный, узкій, мъщанскій, стремящійся насильственно изолировать художника отъ человъка, сдълать изъ перваго какую-то схему, абстракцію; нисколько не удивительно, что такого взгляда держался именно Гончаровъ. А между тъмъ о различныхъ особенностяхь его мирной, бюрократической жизни следовало бы упомянуть, такъ какъ вторая половина жизни Гончарова—это естественвъйшее и потрясающее по силъ продолжение и окончание испорченнаго Гончаровымъ конца «Обыкновенной исторіи». Въ борьбъ съ мъщанствомъ жизни трагически погибли Пушкинъ и Лермонтовъ, еще трагичиве ихъ-Гоголь, но трагедія ихъ смерти — ничто передъ пои-

стинъ потрясяющимъ зрълищемъ смерти Гончарова. «Нермальное назначение человъка прожить четыре времени года, т.-е. четыре возраста, безъ скачковъ, и донести сосудъ жизни до послъдняго дня, не проливъ ни одной капли напрасно»...—такъ когда-то пророчески предсказаль себъ свою жизнь Гончаровъ устами Штольца; и онъ прожиль «нормально» до глубокой старости. Его конець - медленное, ровное угасаніе, его конець — сплошной, несознаваемый имъ ужасъ: достаточно прочесть письма Гончарова и воспоминанія о последнихь годахь его жизни. Последніе годы жизни Гоголя—это мирное и безбользиенное угасаніе, по сравненію съ тъмъ ужасомъ пошлости, который окружаеть конецъ Гончарова и о которомъ мы не будемъ говорить, не желая нарушить волю величайшаго изъ представителей мъщанства.

Опубликованный за послёднее время рядь писемъ Гончарова къ М. Стасюденну (см. IV-ый томъ архива Стасюлевича) бросаеть однако новый свёть на душевныя переживанія этого вёрнаго слуги мёщанства—и мы, чтобы закончить знакомство съ Гончаровымъ, остановимся немного на этомъ рядё глубоко интересныхъ для насъ писемъ.

Инсьма, дъйствительно, громаднаго интереса. Правда, и раньше мы знали кое-что о личности Гончарова, о его нѣкоторыхъ «странностяхъ», о его бользненномъ самолюбін, о припадкахъ минтельности: и раньше были извѣстны имсьма его къ Тургеневу, Валуеву, Тройницкому и другимъ. Но такого полнаго выявленія души, какое мы находимъ въ наиечатанныхъ въ «Архивѣ» Стасіолевича письмахъ Гончарова— до сихъ поръ еще не было среди гончаровскихъ матеріаловъ. И врядъ ли въ будущемъ можетъ появиться что-либо существенно новое, существенно дополняющее ту окончательную характеристику Гончарова,

которую можно теперь намётить въ основныхъ чер-

()

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что эти новые матеріалы о Гончаровъ кореннымъ образомъ разрушають взглядь на него, какъ на самаго крупнаго представителя «мъщанства» въ русской литературъ. Мы видъли выше полное тождество Гончарова съ его мъщанскими героями -- Адуевымъ, Штольцомъ, Тушинымъ; намъ приходилось указывать, что подлинныя переживанія Гончарова, описанныя имъ въ «Фрегатъ Паллада», могли принадлежать только сухому и плоскому чиновнику Адуеву, который не путешествоваль, а «плаваль по казенной надобности». Внѣшность Гончарова и Адуева совпадаеть до тождества; но что же таится подъ этой внъшностью? И если тантся что либо отличное отъ типичнаго духовнаго мъщанства, то проявилось ли это въ творчествъ Гончарова-Адуева? Отрицательный отвътъ на последній вопрось несомненень настолько же, насколько несомнънно и то, что «наружный обликъ» души Гончарова (если можно такъ выразиться) не псчерпывалъ собою карактера его личности.

«Мѣщанство» иы представляемь себѣ всегда грубымь, дубовымь, пошло-здоровымь, незнающимь никакихь сомнѣній, тревогь и болѣзней души. Почему? Это лишь привычный шаблонь, это вовсе не общеобязательно. Отчего не быть мѣщанству и другимь—хилымь, нервнымь, болѣзненнымь, съ обнаженными нервами? Узость взглядовь, плоскость души, полная безличность—равно возможны и въ томь и въ другомь случаѣ. Правда, во второмъ случаѣ обнаженные нервы часто дѣлають человѣка болѣзненно чуткимь, а чуткость эта—условіе рожденія «лица» въ человѣкъ. Но бываеть и иначе: больной организмъ вырабатываеть себѣ «защитный покровь», который могь бы стать между нимъ и міромъ. Точно хлипкій

моллюскъ выдъляеть изъ себя известь, чтобы создать толстую внъшнюю оболочку раковины, которая спасала бы его отъ внъшняго міра. Это—въ двухъ

словахъ – судьба и исторія Гончарова.

Можеть случиться, что подъ этой внѣшней оболочкой «мѣщанства» таптся нѣжная, тонкая и глубокая организація; можеть случиться, что подъ ней
скрывается только озлобленное, больное и несчастное
мѣщанство же. Послѣдній случай рисують намъ
письма Гончарова. Правъ быль Гончаровь, когда въ
своемъ литературномъ завѣщаніи требоваль, чтобы
никогда не была опубликована его частная переписка:
письма его, вскрывающія истинную сущность его
души, производять безконечно тягостное впечатлѣніе. Ихъ историко-литературное значеніе, ихъ исихологическая цѣнность — громадны; ихъ этическій
уровень — достоинъ все того же вѣчнаго, «нуменальнаго» Адуева.

Самъ Гончаровъ хотъль видъть въ себъ двухъ людей, — и это удобное и обычное объяснение («Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust»...-и т. д) въроятно соблазнить еще нъкоторыхъ истериковъ литературы. Одинъ человъкъ – внъшній мъщанинъ; онъ высказывается въ произведеніяхъ Гончарова. Другой-тонкая, нъжная, больная душа, высказывающаяся только въ интимныхъ письмахъ. «Письма, за невозможностью писать другов, есть единственный путь, которымъ я разръщаюсь своей литературного силою и облегчаю напоръ фантазіп. Это моя другая жизнь - міръ фантазін, и Вы правы, говоря, что во миъ два человъка и что они часто ръзко протпворвчать другь другу и что ихъ смешивать одного сь другимъ надо осторожно. Иначе оскорбишь напрасно того или другого-и сдълаешь промахъ, даже почти преступленіе, съ плеча, ничего не понявши, колотя то, что заслуживало бы только нѣжной, дружеской

руки и всевозможной пощады, даже нѣкотораго баловства. Тогда только эта сила и могла быть направлена въ свое настоящее русло» (нисьмо отъ 7/19 іюня
1868 г.). Два человѣка, двѣ жизни—все это глубоко невѣрно; изъ писемъ, какъ и изъ произведеній
Гончарова, передъ нами встаетъ глубоко цѣльный
человѣкъ, только прячущійся то и дѣло въ свою
раковину, человѣкъ съ обнаженными нервами, но
нервами реагирующими только на «мѣщанскія» движенія и души, и окружающей среды.

Самъ Гончаровь охотно и съ видимымъ удовольствіемь то и дъло говорить о тонкости своихъ нервовъ, о своей «странности» и «впечатлительности». Тонкость нервовъ—да; но что же воспринимаютъ

эти тонкіе нервы?

«Природа мит дала тонкіе и чуткіе нервы (откуда и та страшная впечатлительность, и страстность всей натуры): этого никто никогда не понималь, п ть, которые только замьчали послъдствія этой впечатлительности и нервной раздражительности- что дълали? Совъстно и грустно мнъ становится и за нихъ, и за себя когда я прослъжу пъкоторыя явленія моей жизни. Меня дразнили, принимая или за полубъщенную собаку, или за полудикаго человъка, гнали, травили, какъ звъря, думая, Богъ знаетъ что, и не умъя ръшить что я такое! Притворщикъ, актеръ или съумашедшій, или изъ меня, и на словахъ и на письмахъ, и въ поступкахъ, бъется телько и пграетъ разнообразно сверкая, сила фантазін, ума, чувствъ, просясь во что-нибудь, въ форму: въ статую, картину, драму, романь и что бъется это все изъ самой почвы, можеть быть, довольно богатой, что это требуеть винманія нъсколько заботливой руки, дружества, а не вражды! А между тъмъ, друзья являлись мит врагами и... Понятно, что я ничего не дълалъ, не писалъ, а мучился внутренно, въ ужаст самъ отъ того, что не умѣю этого объяснить и растолковать!» (письмо отъ 13/25 іюня 1868 г.). Кто гналь, кто травиль, кто оскорбляль Гончарова? — Никто; но только такія впечатлѣнія отъ міра воспринимались его обнаженными нервами,— и именно отъ такихъ впечатлѣній прятался онъ въ свою мѣщанскую скор-

луну.

Конечно, всв эти впечативнія — впечативнія явно больного человъка, страдающаго ясно выраженной маніей пресл'єдованія. Но почему же и м'єщанину не страдать этой бользнью? И Гончаровь дъйствительно, страдаеть ею. Кто-то въчно за нимъ шиюнить, въчно за нимъ слъдитъ: это эмиссары И. С. Тургенева, которому надо выкрасть и вывъдать содержаніе новаго романа Гончарова... «Вск они (такъ же какъ и Тургеневъ въ Баденъ) спльно приступали ко маъ- «прочти да прочти», причемъ зоряо слъдили за мной, слушали мой разговоръ, немного даже равиня роть, чего то оть меня добиваясь, навязывая мнь еще какую-то слушательницу, знакомую Тургенева, которая даже хотела прівхать вь Булонь купаться (и тоже слушать меня). М-те Өеоктистова все вздила подъ сурдиной въ Карлсруз-словомъ, чорть ихъ знаетъ, что они делали и чортъ бы побралъ всю эту компанію-зачімь-то за мной пристально слъдившую!» (письмо отъ 7 іюля 1868 г.). Или: «въ Парижъ готовятся разныя затън. Ужъ около меня спльно юлилъ гарсонъ, узнавая, куда да какъ я отправлюсь и проч., и проч., и очень смутпися, когда я вдругъ спросиль его: кто его обо мит спрашиваль?» (письмо оть 1/13 августа 1868 г.). Около пего «закидывается сть», чтобы «задушить» его: всв сговорились помешать сму окончить романъ («Обрывъ»); это дьявольскія козни, пбо въ романъ своемъ онъ хочеть славы и величія Россін; шпіоны (отъ Тургенева) кишатъ кругомъ, --и уже «чужая

рука» (т.-е. рука Тургенева) уже выудила кое-что, и «чужой языкъ» уже «слизалъ сливки» съ завътнаго романа Гончарова. «Я подозрѣваю, что такіе-то госнода въ прошломъ году поглядывали въ Маріенбадъ, пишу ли я свою задачу: одинъ изъ нихъ проговорился объ этомъ, п нотомъ, безъ моего въдома, распустили нынъшней весной слухь въ газетахъ, что у меня ужъ и кончено все. Что все это значить? Отъ чего это гоненіе и отъ кего вражда и за что? А Вы знаете, чего я хотбит въ своемъ сочинении, какія честныя мысли, добрыя намъренія руководили мной, и какъ много теплой любын (это уже позволительно и самому мнъ замътить) къ людямъ и къ своей странъ разлито въ этомъ моемъ фантастическомъ уголкъ Россін, въ его обитателяхь и т. д. Въ концъ-у меня молитвы героя кончаются аповеозомъ религівзнымъ и патріотическимъ. И вдругъ, не только безучастіе, а какой то злой сибхъ, глухая вражда виъсто наски и участін-еще до появленія труда прив'ятствують меня!» (письмо отъ 1 іюля 1868 г.).

Такъ внѣшній міръ дѣйствуєтъ на «тонкіе нервы» Гончарова. Дальше можно и не продолжать. Конечно: всѣ его обманывають, всѣ его оскорбляють, всѣ надънимъ смѣются, всѣ его нодозрѣвають, всѣ его ненавидять. Отъ этого--гиетущая хандра, которая заставляеть его думать о самоубійствѣ, его мрачная пронія надъ самимъ собой и надъ жизнью.—Все это, несомиѣнно,—его душевная болѣзнь. Но не ясно ли, что именно въ душевной болѣзни, когда истончаются и обнажаются нервы человѣка, не ясно ли, что именно въ маправленіи этой болѣзни скажется весь душевный міръ человѣка, вся сущность его душе? И что можеть быть «мѣщанственнѣе» той сущности, которая обнажилась передъ нами въ интимной перенискѣ Гончарова?

И воть этому больному мъщанину нужна лупа, куда бы могъ онъ спрятаться отъ міра. Характерны въ этомъ отношении его поиски абсолютной тишины, необходимой для его творчества, и не только для творчества — для всей жизни. "Знаете, чего я ищу и почти не нахожу ни въ какомъ углу міра: это простой тишины, но такой, какъ могила! Нътъ нигдъ: вотъ здъсь съ улицы (къ счастью нечасто) доходить стукъ колесь, въ зелени птицы трещатъ. А главный мой врагь это-фортепіано. Въ дом' его нъть, а черезъ улицу кто-то бренчить. А мнт нужно совсёмъ уйти въ себя, въ свой міръ и чтобъ ни одинь звукъ не вторгался въ область моей фантазіи! Но гдъ найдешь эту тишпну. На что тиха моя Петербургская Обломовка, съ зеленымъ дворомъ п садомъ, а и тамъ надъ головой моей ходитъ, точно слонъ, лакей молодого хозяпна и по причинъ низенькихъ потолковъ кажется, что онъ ходить будто у меня на головъ" (письмо оть 18 іюня 1868 г.). И еще не одинъ разъ повторяетъ Гончаровъ: "я пщу пдеана безусловной, почти могильной тишины". И, не находя нигдъ въ міръ "могильной тишины", Гончаровъ ищетъ другихъ средствъ для огражденія своихъ обнаженныхъ нервовъ; онъ строитъ свою скорлупу випьшияго мъщинства, которая является тесно и глубоко связанной по существу съ его внутреннимъ міромъ, съ сущностью его души...

Нѣтъ необходимости останавливаться на проявленіяхь въ письмахъ этого внѣшняго мѣщанства Гончарова: оно слишкомъ хорошо извѣстно по всему тому, что мы и раньше знали о Гончаровѣ. Хотя кое-что здѣсь очень характерно. Такъ, въ письмахъ, наполненныхъ планами творчества, разсказами о новыхъ главахъ "Обрыва", восторженными восклицаніями о томъ значеніи, какое будетъ имѣть этотъ романъ, — курьезнымъ лейтъ-мотивомъ проходитъ

фрикт, который заботить Гончарова не менте романа п о которомъ онъ подробно иншетъ съ десятокъ разъ... Характерно во внъшнемъ мъщанствъ Гончарова и и то, какъ самъ онъ понимаетъ свое творчество. "Напоръ фантазіи", разгаръ своего творчества онъ объясняеть ,,раздраженіемь отъ водь "...-онъ жиль тогда въ Киссингенъ, "Какъ бы только отъ водъ и послѣ послѣ водъ не прошло раздраженіе!" Иногда ото творчество связано съ "раздраженіемъ геморроя"; иногда Гончаровъ требуетъ для писанія романа, легкаго раздраженія, т.-е. пріятнаго волненія "... Характерны -и многія · сужденія ,, внъшняго мъщанина", такъ полно проявляющаго свою внутреннюю сущность; но все это мелочи, на которыхъ не стоить останавливаться, уяснивъ себъ главное и существенное въ этой серіи интимныхъ писемъ.

Эти интереснъйшія и цъннъйшія для историка литературы и для исихолога инсьма производять въ своей совокупности тягостнъйшее впечатлъніе, -- особенно къ концу переписки, къ семидесятымъ и восьмидесятымъ годамъ. Здёсь передъ нами — жалкій, больной старикъ, побъжденный жизнью и тускло умпрающій. Еще въ концъ шестидесятыхъ годовъ Гончаровъ писаль о себь: "Человъкъ я, что называется, конченный. Воть умудрился на старости устроить себъ жизнь, полную тоски и отчаянія кенечно, не я одинъ: усердно помогали и другіе!" И не разъ въ грустныхъ запискахъ и письмахъ говориль онь о себъ тяжелыя слова, называя себя "гнуснымъ, никому не пужнымъ кривымъ старикомъ", который , дожиль до невозможности, все по милости трезвой, скромной жизни... За то и наказанъ"... Нельзя безъ волненія читать эти тяжелыя письма, но нельзя не вспомнить туть о Штольцъ, устами котораго молодой Гончаровъ радужно рисоваль себъ свою жизнь и старость. "Нормальное назначение

человѣка прожить четыре времени года, т.-е. четыре возраста, безъ скачковъ, и донести сосудъ жизни до послѣдняго дня, не проливъ ни одной капли напрасно"... И весь ужасъ этой жизни и этой смерти—въ трагедіи двойного мѣщанства, внутренняго и внѣшняго, въ ихъ стремленіи замкнуться отъ міра въ узкой скорлупѣ одинокой личности.

Письма Гончарова не только не нарушають прежняго представленія о немь, какъ о "мѣщанинѣ", но даже углубляють и расширяють такое предстаеленіе. Но вносять они и кое-что новое: они окончательно нарушають обликъ "румянаго, дебелаго" и духовно здороваго Гончарова. Нѣтъ, передъ намя издерганный, нервный, душевно-больной человѣкъ, сутью души котораго, однако, является все то же "мѣщанство". И я думаю, что этотъ обликъ Гончарова можно опредѣлить двумя не противорѣчащими другь другу словами: больной мъщанинъ.

Но это между прочимь; мы видели, что полное собраніе сочиненій Гончарова, т.-е. то, что самь же онь предназначиль для публики, вполнё достаточно для тёхь выводовь, которые нами уже построены выше. Чтобы дополнить ихь, остановимся еще немного на внёшней сторонё его произведеній и на общемь значеніи его романовь.

VII.

Какъ романисть, Гончаровь мелокъ. "На глубину я не претендую", — говорить онъ самъ про себя (I, 39), но съ недостаточной искренностью, какъ увидимъ сейчасъ. Въ его романахъ главное достоинство—красочное и жизненное изображение обыденной жизни; но и въ этомъ изображении у него все такъ ясно, такъ просто, понятно, спокойно — и именно

потому, что все не глубоко. Точно слегка задъта вътеркомъ спокойная поверхность воды: вы не увидите здесь бурно перекатывающихся волнъ, высоко вздымающихся и глубоко падающихъ валовъ, обнажающихъ чуть не самое дно (Толстой, Достоевскій); передъ нами тихая рябь, расходящіеся на большое пространство круги-и безстрастный, "объективный" авторь съ записней книжкей въ одней рукт и фотографическимъ анпаратомъ въ другой *). Онъ пытается сфотографировать душу человъка, очевидно полагая вивств съ Карамзинымъ, что "описание дневныхъ упражненій человька есть върньйшее изображеніе его сердца" ("Натал я боярская дочь"): на языкъ Гончарова это описаніе дневныхъ упражненій называется психологическимъ анализомъ. На эту "внъшность" исихологическаго анализа Гончарова обратилъ вниманіе еще Писаревъ въ статьъ "Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ". По эгому рецепту Гончаровъ воспроизводить безконечно длинные разговоры дъйствующихъ лицъ, иногда на протяжении двухъ печатныхъ листовъ (!) - это и есть психологическій анализъ (см., напр., І, 171—191; 245—268; вся первая часть "Обрыва"; затъмъ ІХ, 69—80; 127—139; 182—188, Х, 19-27, 68-108 и др.). Все это, конечно, не обиліе мысли, а обиліе фразъ; Гончаровь "объективно" скользить по поверхности, не проникая въ глубь. Объективностью своей онъ гордился; "sine ira заявляеть онъ — законъ объективнаго творчества" (1, 66); по его мивнію, писатель "должень обозрввать покойнымъ и свътлымъ взглядомъ жизнь людей вообще, иначе выразить только свое я, до котораго

[&]quot;) Попытка усумниться въ «объективизмѣ» Гончарога въ виду совпаденія его преаловь съ идеанами его героевь—построена на непродуманномъ каламбурѣ и на смѣшеніи пенятій, ибо самый «субъективный» авторъ можеть строго размѣренео и «объективно» описывать свое самое «субъективное». Таковъ былъ я Гончаровъ

пикому нѣтъ дѣла" (II, 45—46). И по проніп судьбы онъ совершенно невольно выразилъ свое мѣщанское "я" во всѣхъ своихъ "обтективныхъ" произведеніяхъ. Гончаровъ забылъ завѣтъ Бѣлинскаго, по которому объективность должна заключаться въ безпристрастіп, а не въ безстрастін; но въ безстрастіп Гончарова именно нѣтъ безпристрастія: онъ безстрастенъ, но въ то же время пристрастенъ къ своимъ мѣщанскимъ героямъ, онъ идеологъ духовнаго мѣщанства.

Съ внѣшней стороны Гончаровъ такой же мѣщанинъ, какъ и по существу; самая его объективность есть не иное что, какъ кристаллизовавшееся въ кудожественномъ словъ мъщанство; ръчь его течетъ плавно, размъренно, аккуратно, и опъ вполнъ на высотъ своей задачи, пока описываеть повседневныя "дневныя упражненія человъка"... Но степть ему хоть немного уклониться отъ описанія обыденныхъ "дневныхъ упражненій", стопть ему попытаться изобразить нѣчто болѣе или менѣе выподящее изъ ряда обыденности, какъ немедленно въ результатъ получается безвлусіе, незнаніе чувства мёры, банальщина, шаблонъ, -- безразлично, въ описаніи ли картинъ природы или диевныхъ упражненій человтка. Тогда у него "море синее-преспиее", тогда "солнечный шарь злобно мечеть отвѣсныя стрѣлы"; тогда онь, описывая закать солица (описание почену-то считающееся классическимь), внадаеть въ тонъ исевдо-романтизма, пересыпаеть свой разсказь напыщенными и холодными метафорами въ стизъ Марлинскаго и безвкусно заканчиваетъ свой газсказъ стихами Бенедиктова, къ слову сказать, его друга и пріятеля. Тогда въ "Обломовъ" Ольга "какъ ангелъ восходить на небеса, идеть на гору"; тогда въ "Обрывъ" Волоховъ проповъдуетъ нев гроятную заборную мораль, Втра работаеть "съ адскимъ проворствомъ", ею овладъваетъ "дикая дъятельность", она въ паті

мпнуть "передблаеть бездну". Вёдь это уже литературный маразмь, это полное безсиліе аккуратнаго мѣщанина-писателя хоть на минуту выйти изъ ра-

мокъ обыденности.

Еще печальнъе результаты попытокъ Гончарова выйти изъ мъщанской плоскости во внутреннемъ значенін своихъ романовъ, придать имъ тотъ смыслъ и глубину, которыхъ онп отнюдь не имъютъ. "На глубину я не претендую", — заявилъ однажды самъ Гончаровъ (въ статьъ "Лучше поздно, чъмъ никогда"), по въ той же стать в черезъ нъсколько страницъ забыль о своемъ заявленін и попытался проявить свою глубину спитезомъ трехъ своихъ романовъ въ одну громадную трилогію. Эти потуги кровнаго міщанина на глубину представляють поистинъ жалостное, трагикомическое зрѣлище. Пытаясь углубить всяческими правдами и неправдами смыслъ своихъ романовъ, Гончаровъ считаетъ Райскаго «проснувшимся Обломовымъ, въ бабушкъ кочетъ видъть аллегорію на "великую бабушку-Россію", разрушенную бестдку на днт обрыва сравниваеть съ Севастополемъ; "паденіе" Въры, это-, паденіе Севастополя" и въ тоже время паденіе вообще русской женщины въ періодъ эмансппаціи 60-хъ годовъ... Въ этихъ потугахъ — трагедія безкрылаго мъщанства, пытающагося подняться на орлиную высоту. Правда, п Толстой, и Достоевскій рисовали пногда жанровыя картины, не претендующія на глубокій смысль, но в'єдь хотя

Орламъ случается и ниже куръ спускаться, Но курамъ никогда до облакъ не подняться...

Вълицъ Гончарова этическое мъщанство выдало само себъ testimonium pauperitatis; побъдная пъснь торжествующаго мъщанства оказалась опереточно-шаблоннымъ произведениемъ и окончилось жалкимъ пискомъ безсилія...

Мы не хотимъ быть несправедливыми къ Гончарову: онъ большой талантъ, но до сихъ поръ слишкомъ ужъ преувеличивали его значение и мъсто въ русской литературъ, увлекаясь осуждениемъ обломовщины Гончаровымъ и смотря сквозь нальцы на его апологію адуевщины. Гончаровъ талантъ, и историкъ литературы не пройдетъ мимо него, но несправедливо выдвигать его въ первые ряды; въ литературъ Гончаровъ праетъ приблизительно ту же роль, какъ В. Маковскій въ живописи: оба они талантливые жанристы, но, познакемившись разъ съ ихъ картинами, ситишь невельно пройти дальше и отдохнуть на чемъ-нибудь болъе яркомъ, красочномъ, глубокомъ.

Со вздохомъ облегченія простимся съ Гончаровымъ и мы, выходя изъ затхлой атмосферы духовнаго мъщанства снова на солнце и на воздухъ. Съ этимъ чувствомъ мы вообще прощаемся съ системой оффиціальнаго мѣщанства для того, чтобы перейти къ борцамъ и побъдителямъ ел. Духовное мъщанство, мъщанство жизни сломило Пушкина и Лермонтова, насмъялось надъ Гоголемъ и побъдоносно выступпло со своей "деклараціей правъ" въ произведеніяхъ Гончарова; но оно слишкомъ торошилось торжествовать победу. Въ то время, когда трагически гибли одинъ за другимъ Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь, когда Гончаровъ выступаль увъреннымъ идеологомъ мъщанства, когда система оффиціальнаго м'вщанства ныталась окончательно задавить личность - въ борьбу съ мъщанствомъ во всъхъ его проявленіяхъ выступили лучшіе русскіе люди, соль нашей пителлигенціи. Люди тридцатыхъ и согоковыхъ годовъ, западники, славянофилы, Бѣлинскій, Герценъ дали этпческому мъщанству ръшительную битву- и побъжденное мъщанство разсъялось, было, туманомъ при свътлой зарѣ шестидесятыхъ годовъ.

Jumie mogn.

I

Эпоха оффиціальнаго м'єщанства создала типичныхъ мъщанъ; она же создала и "лишнихъ людей", знакомствомъ съ которыми мы закончимъ описаніе фона эпохи 1825—1855 г.г., ибо лишие люди-прямое сабдствіе эпохи оффиціальнаго мъщанства. Лишніе люди появляются въ двадцатыхъ годахъ, въ эпоху аракчеевскаго предполовія къ систем'в оффиціальнаго мъщанства. Разочарованность, псканіе и протестьтаковы ихъ главныя черты въ различныхъ сочетаніяхъ; лишними людьми являются и Кавказскій Плънникъ, и Алеко, и Чацкій. Если разочарованность и исканіе болье всего характеризують Алеко и Плынника, то искание и протестъ наиболее характерны для Чацкаго, въ которомъ Бълинскій вполнѣ основательно видълъ "энергическій (и притомъ еще первый) протесть противъ гнусной рассейской действительности"... Мы знаемь, что Чацкій погибь, но его революціонное значеніе въ борьбѣ съ мѣщанствомъ не погасло вивств съ нимъ. Послъ 1825 года десятки и сотни Чацкихъ или отправились "доставать для Россіи по три пуда руды въ день", или остались убивать свой въкъ (подобно Чаадаеву) въ атмосферъ оффиціальнаго мъщанства. Лишніе люди начинають появляться все чаще и чаще.

Прежде всего явился безвольный, слабый, тоску-

ющій, незнающій куда приложить свои силы Онъгинъ, пробавляющійся чайльдъ-гарольдствомъ и кутающійся въ демоническую тогу, которая ему была совершенно не кълицу. "Евгеній Онътинъ" — первое произведение Пушкина, въ которомъ поэтъ проявилъ всю силу, всю мощь своего реализма; впервые изъподъ пера поэта родился на свътъ живой, реальный образъ. Это былъ разрывъ съ байроническимъ исевдоромантизмомъ. По внъшности Онъгинъ похожъ еще на героевъ Байрона, онъ "москвичъ въ гарольдовомъ плащъ", но онъ совершенно отличенъ отъ нихъ по своимъ внутреннимъ свойствамъ и качествамъ. Насколько сильны духомъ и волею байроновскіе герои, настолько же слабъ и безволенъ Онъгинъ; подобно имъ, онъ тоже одинокъ, но они одиноки отъ избытка силы, Онъгинъ же одинокъ отъ слабости: онъ перерось мъщанскую толпу, но не имъстъ сплы вырваться изъ нея, и, слабый въ своемъ одиночествъ, предпочитаетъ задрашироваться "въ гарольдовъ плащъ". Въ то время какъ могучихъ героевъ Байрона мучають проклятые вопросы:

Зачёмь я существую? Ты вачёмь Несчастень самь? Зачёмь всё въ мірё твари Несчастны такъ?..

—вопросы, столь трагически развитые впоследствін Достоевскимъ — Онегина тревожать вопросы въ несколько иномъ стиле:

Зачемъ какъ тульскій засёдатель Я не лежу въ параличъ? Зачёмъ не чувствую въ плечь Хоть ревматизма?..

Но несмотря на это нёсколько комичное сопоставленіе, и Онёгина въ сущности мучають тё же вопросы о цёли жизни: "чего мнё ждэть?" — спрашиваеть онъ себя. Во всякомъ случай, исканія у него нельзя от-

нять; онъ не могь ужиться съ "безсмысленнымъ народомъ", въ мъщанской средъ, но въ то же время онъ быль настольно безволень и слабъ, что не могъ разорвать съ этимъ мъщанствомъ: "шопотъ, хохотня глупцовъ" и "общественное мнънье" этой же самой мъщанской толны синьнъе для него голоса его собственной совъсти. Какая ужь туть спла демонизма въ геров, тренещущемъ передъ мъщанской толной! Самь Пункинъ сравниваль своего героя съ "Демономъ"-изъ стихотворенія, написаннаго имъ одновременно съ первой главой "Евгенія Онтгина" (гл. VIII, строфа XII); но, конечно, въ Онъгинъ мы пе найдемъ ничего демоническаго. Демонъ Пушкинане мрачный Люциферъ, а, выражаясь словами Бълинскаго, только мелкій чертенокъ; не гордый Маяter of Spirits Байрона, но мелкій бъсъ, представитель дьявольской черии, телпы, мъщанства. Если этотъ чертенокъ-олицетворение сомнъния, по толкованию самого Пушкина, — овладъль умомъ Онъгина, то это опять-таки происходило только отъ слабости послъдняго: онъ не имълъ силы идти дальше шаблоннаго отрицанія, отрицанія въ конечномъ счеть понятнаго, ненужнаго, наивнаго. Полное отсутстве силы-характерная черта любимаго героя Пушкива (а потому и самого Пушкина). Ярче всего это сказалось въ отношеній нашего поэта къ "истинь", такъ я но оттыняющемь основныя черты характера и Байрона, и Пушкина, и Лермонтова, и Онтина, и Печорина, и вообще всъхъ "лишнихъ людей".

II.

Только орель можеть прямо смотрёть на солнце, только сильный духомъ можеть смотрёть прямо въ глаза смотрёли ей

могучіе героп Байрона. Каннъ отождествляетъ "правду-истину" и "правду-справедливость", категорію логическую и этическую; для него знаніе есть добро и добро есть знаніе; Люциферъ повторяетъ, что

...истина по существу ея Быть можеть только благомъ,

а потому смёло смотрить ей въ глаза:

А я, что знаю все, я не страшусь ... Ни передъ чъмъ: вотъ истинное знанье!

Конечно, ничего подобнаго мы не найдемъ у Пушкина. Какъ слабый человъкъ, онъ невольно опускалъвзоры передъ "истиной", если она оскорбляла поэта, разрушала его идлюзіи. Поэтъ не хочетъ такой истины,

...Нътъ, Тъмы низкихъ истинъ мнъ дороже Насъ возвышающій обманъ!

Въ этомъ отношенін поэта въ "истинь" выразилось одновременно и его "индивидуалистическое" настроеніе, и его дань духовной слабести. Пушкинь отчасти, подобно Карамзину, предлагалъ поэту устремиться "вь мірь сладкихь грезь" и "обманывать себя самихъ и тъхъ, кто достоинъ быть обманутымъ"; а отчасти требоваль примати человнка ниде истиной. Pereat mundus, fiat justitia—такъ понималь Пушкинъ примать истины, и, конечно, проклиналь такое подавленіе челов вка абстракціей. Отрицаніе авторитета абсолютной истины, такъ сильно сказавшееся на закать XIX-го выка (субъективисты; Посень, "Дикая утка"; Горькій, "На днъ") имжеть въ русской литературъ Пушкина своимъ первымъ представителемъ. Нечего и прибавлять, какъ проклинаетъ Пушкинъ эту истину, этотъ

> ... правды свътъ, Когда посредственности хладной.

Завистливой, къ соблазну жадной Онъ угождаетъ праздно...

т.-е., иначе говоря, когда онъ служить на пользу тупому и плосклому этическому мѣщанству. Эта точка зрѣнія Пушкина характерна не только для него и Онѣгина, но и для большинства лишнихъ людей 1).

Вследь за Онегинымъ явилась целая толпа москвичей въ гарольдовомъ плащъ, героевъ псевдоромантизма. На нихъ, конечно, нечего останавливаться. Но воть на рубежь между тридцатыми и н сороковыми годами появляется Печоринъ, этотъ герой своего времени, лишній человъкъ со многими новыми карахтерными чертами. Прежде всего Печоринь на первый взглядь-сильный человъкъ; онъсила, сила великая, онъ дъйствительно "герой" (доказательству "геропзма" типовъ Лермонтова посвящень очеркъ Михайловскаго "Герой базвременья"). Но надо сейчась же прибавить, что сила эта находится отчасти въ серытомъ состояни, а отчасти она невърно направлена. Въ этой невърно направленной сплъ-вся слабость Печорина и причина того, что и онь быль въ дъйствительности лилинимъ человъкомъ; иевърно направленная сила, отчасти въ состояніи возможности-вотъ самое основное опредъление Печорина и, конечно, самого Лермонтова. Самъ Лермонтовъ прекрасно сознавалъ всю слабость силы своей и своего героя. "Пробъгаю въ памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачёмь я жиль? для какой цели я родился?—пишетъ Печоринъ въ концъ своего дневника: - а върно она существовала и

¹⁾ Вноследствій мы увидимь, что въ этомь вопросе объ истине необходимо различать quaestio facti отъ quaestio juris. о "Евгеній Онегине" и вообще лишнихь людяхь см. нашу подробную статью въ книге "Пушкинь и Белинскій"; см. тамь же статью о поэмахь Пушкина и о Лермонтове.

върно было мит назначение высокое, потому что я иувствую ва душь моси сили необъятныя... Но я не угадала этого назначения, я увлекся приманками страстей пустыхы и неблагодарныхы"... (курсивы нашы). Лермонтовы не могы даты болые върнаго опредыления и своему герою и себъ...

Какъ сильный человъкъ, Печоринъ смотрълъ истинъ безгрепетно въ глаза. Лермонтовъ съ жестокой безпощадностью вскрывалъ передъ самимъ собою жестокую правду жизни, хотя и иснытывалъ постоянную тоску. Конечно тоска эта не Weltschmertz, которую хотълъ видъть въ себъ и своихъ герояхъ Лермонтовъ, но она также и не тотъ Каtzenjammer, которымъ объяснялъ себъ героевъ демонизма Писаревъ: тоска эта — неизбъжное слъдствіе сознанія невърно направленныхъ и безцъльно растраченныхъ громадныхъ силъ. Мы знаемъ, что раздвоенность дъйствій и сознанія характеризуетъ собой Лермонтова; мы видъли, что двъ души реалиста и романтика, живутъ въ его груди, что изъ нихъ

Die eine will sich von der andern trennen, Die eine hält, in derber Liebeslust. Sich au die Welt, mit klammernden Organen; Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust Zu den Gefühlen hoher Ahnen 1).

Въ этомъ раздвоени — черта, въ высшей степени характерная для идущихъ вслъдъ за Печоринымъ лишнихъ людей.

Ш.

До сихъ поръ мы видёли отдёльныхъ представителей лишнихълюдей, первыхъ ласточекъ, появляю-

^{1) ...} Двѣ души живуть въ груди моей, Другь другу чуждыя—и жаждутъ раздѣленья. Изъ нихъ одной—мила земля И здѣсь ей любо, въ этомъ мірѣ, Другой—небесныя поля, Гдѣ духи носятся въ эфиръ...

щихся по одиночев. Но ласточка одна не двлаеть весны, два-три "героя своего времени", лишнихъ человъка, еще не создали собою типа лишнихъ людей вообще. Однако вскоръ послъ Печорина, на исходъ сороковыхъ годовъ, лишніе люди появляются въ русской литературъ цълими стаями, особенно въ эпоху террора системы оффиціальнаго мѣщанства, Бельтовъ, Герцена, Эльчаниновъ и Шамиловъ Писемскаго, Агаринъ Некрассва, Лузгинъ, Буеракинъ и вообще "талантливыя натуры" Салтыкова, наконецъ, вст герои лучших разсказовъ Тургенева — лишніе люди, и всё они появились въ періодъ 1847 – 1856 гг. Мы познакомимся съ напболфе яркими изъ этихъ героевъ и тогла, наконецъ, будемъ въ состояніи сдівлать некоторый общій выведь о типе лицияго человъка въ русской жизни и литературъ второй четверти XIX-го стольтія.

Сначала остановимся на самыхъ безцетныхъ п ничтожныхъ представителяхъ лешнихъ людей. Вотъ передъ нами "Дневникъ лишняго человъка" (Тургеневъ; 1850 г. 1). Авторъ дневника, помъщикъ Чулкатуринъ, самъ себя окрестилъ лишнимъ человъкомъ, и съ его легкой руки название это широко распространилось въ литературъ и жизни (хотя раньше и Бълинскій и Герцевъ употребляли тотъже терминъ), "Лишній, лишній... отличное это я придумаль слово", -- радуется Чулкатуринь и объясияеть, что такое лишніе люди: эти люди сверхштатные, которыми обремизилась мать-природа; ихъ свойствопрежде всего безполезность, а затъмъ -- слабость, изъ которой рождается забдающая экизнь рефлексія (ею страдали вев лишие люда). Чулкатуринъ върно объясняеть ен происхождение раздоосиностью лишняго человъка, у котораго (также какъ и у его пред-

¹⁾ Цитаты по изданію Маркса 1898 г.

шественника Чацкаго) въчно быль "умь съ сердцемъ не въ ладу ч и между чувствами и мыслями и ихъ выражениемъ находилось какое-то непонятное препятствіе, побъдить которое мішала слабость. "Тогда-то поднималась внутри меня страшная тревога", - разсказываеть Чулкатуринь: -- ,, я разбираль самого себя до последней ниточки, сравнивалъ себя съ другими... толковаль все въ дурную сторону, язвительно смъялся надъ своимъ притязаніемъ быть како вст... А между прочимь все горе этого лишияго человъка именно въ томъ-то и состоить, что онъ въ высокой степени приблежается къ пдезлу "быть, какъ всъ", иначе говоря, къ мъщанству, выше потораго его ставитъ только сознаніе, ненависть къ міщанству и тщетныя попытки выйти, выбится изъ имоскости и безличія; изъ многихъ лешнихъ людей онъ ближе всего стоитъ къ мъщанству, несмотря на всю свою ненависть къ нему.

Что сдълало его такимъ-онъ не знаетъ, по зато хорошо знаемъ мы: мы знаемъ, что Чулкатуринъ родился въ самомъ началъ эпохи оффиціальнаго мъщанства, что молодость его совпала съ тяжелымъ давленіемъ системы; что агонія его совпадаеть съ апогеемь этой системы; послё этого личная жизнь этого лишняго человъка намъ не интересна: "скромныя удовольствія, смиренныя занятія, умъренныя желанія", тщетныя попытки вырваться изъ этого заколдованнаго круга, ненужная жизнь... Надо замъснть только, что въ Чулкатуринъ есть много черто. чекъ и свойствъ чисто индивидуальныхъ, не характерныхъ вообще для лишняго человъка; онъ является придавленнымъ не только эпохой, но и самой природой: въ противоположность большинству лишнихъ людей обдёлень даже даромъ слова, такъ что свои даже оригинальныя мысли онъ высказываеть безсвязно и неумъло. Большинство лишнихъ людей -

"талантливыя натуры", п въ прямомъ смыслѣ и въ проническомъ, какъ у Салтыкова; Чулкатуринъ же во всѣхъ отношеніяхъ безталанный лишній человѣкъ; воть почему его дневникъ производитъ поистинѣ тяжелое впечатлѣніе, такъ что невольно соглашаешься съ заключительными строками: "Сѣю рукопись читалъ И Содержаніе Онной Нѣ Одобрилъ Пѣтръ Зудотѣшинъ". Дѣйствительно, одобрять тутъ нечего.

Близкимъ родственникомъ Чулкатурина является Гамлетъ Щигровскаго убзда; едва ли это не самъ Чулкатуринъ, выздоровъвшій, получившій даръ слова. Все та же горькая мъщанская участь, все та же ненависть къ мъщанству сплетаются въ немъ роковымъ узломъ. Не будемъ попрежнему принимать во вниманіе ніжоторыхь частныхь, индивидуальныхь черточекъ характера нашего россійскаго Гамлета: онъ робовь, самолюбивь, онь чудавь, "оригиналь" — не въ этомъ дело, а вь томъ, что въ этомъ Гамлетъ трагически силетены индивидуализмъ и мъщанство и онъ самъ сознаеть это; онъ самъ заявляеть, что "забденъ рефлексіей, и непосредственнаго нътъ во мнъ ничего", — но дорого бы даль, чтобы обладать этой непосредственностью. Онъ забить средой, заъдень ею не хуже, чъмъ рефлексіей; онъ "смирился" духомъ и вналъ въ тупую пассивность отчаянія. Мъщанская безличность была его постоянной спутницей; "я лъпилъ самого себя, словно мягкій воскъ, жалуется онъ, — и жалкая моя природа ни малъйшаго не оказывала сопротивленія". Но въ то же самое время природа одарила его богаче, чемъ Чулкатурина: онъ приближается къ остальнымъ лишнимъ людямъ уже тъмъ однимъ, что онъ - человъкъ слова, способный "болтать, болтать — безъ умолку... и все о томъ же". Правда, для этого амилуа у него не хватило оригинальности, такъ по крайней мъръ жалуется онъ самъ; не удержавшись на фразъ, онъ

сь головой окунулся въ мъщанское болото - и застряль въ немъ, сознавая при этомъ - здёсь вся трагедія лишнихъ людей-всю плоскость и узость мъщанства, понимая, что въ развитіи личности одно спасеніе. Онъ гибнеть отъ сознанія, что онъ р'єшительно таковъ же, "какъ всъ", что въ немъ всекнижность, нъть ни капли индивидуальности, "собственнаго запаха", --и что онъ не можеть выйти изъ этого заколдованнаго круга подавляющаго безличія. "Что мнв въ томъ, что у тебя голова велика и умъстительна, - обращается онъ къ многочисленнымъ россійскимъ Гамлетамъ и Чулкатуринымъ, — и что понимаешь ты все, много знаешь, за въкомъ слъдишь - да своего-то, особеннаго, собственнаго у тебя ничего итту!.. Нтть, ты будь глупъ, да по-своему! Запахъ свой имъй, свой собственный запахъ, вотъ что! "Этой самобытности, индивидуальности, нътъ у мъщань, основное свойство которыхъ трафаретность; отъ этой же трафаретности гибнутъ Гамлеты разныхь уйздовь, гибнуть Чулкатурины, такь какь слабость ившаеть имъ избавиться отъ безличности, а безличность усиливаеть ихъ слабость.

Намъ нѣтъ необходимости останавливаться на других, такихъ же мелкихъ лишнихъ людяхъ; всѣ эти Веретьевы, Лузгины, Агарины такъ же сильно ненавидять мѣщанство и такъ же безсильно подчиняются ему. "Размѣры насъ душатъ, — жалуется, напримъръ, Лузгинъ: — природа у насъ широкая, желалъ бы захватить вдоль и поперекъ, а размѣры маленькіе"... Въ этомъ вина отчасти и самихъ лишнихъ людей, но прежде всего и главнымъ образомъ — эпохи, которая тщательно съуживала всякую широту размаха. Одинъ изъ лишнихъ людей, герой тургеневской "Переписки" (1855 г.) отмѣтилъ это "хитросилетеннымъ", но образнымъ и вѣрнымъ сравненіемъ (которымъ вскорѣ воспользовался Добролюбовъ): дождъ

падаеть на землю, но составляется изъ испареній, поднимающихся съ той же земли,—такъ и судьба каждаго изъ насъ не съ неба падаеть, но сперва образуется около насъ самихъ (VI, 157). Конечно, это примънимо не только къ однимъ лишнимъ лю-

дямъ, но къ нимъ примънимо въ особенности.

Чулкатурины, Веретьевы и имъ подобные Гамлеты различныхъ убздовъ Россійской имперіи составляли только низшую п худшую часть группы лишнихъ людей. Конечно, они были неизмъримо выше представителей добродътельнаго мъщанства и адуевщины, этихъ Тушиныхъ, Штольцевъ и всёхъ иже съ ними; конечно, въ нихъ были многія характерныя черты лишнихъ людей — анти-мъщанство, раздвоенность, исканіе, протесть, -- но при всемь томь на дълъ они еще безсильно подчиняются ненавистному имъ мъщанству. Слегка познакомпвшись съ худшими представителями лишнихъ людей, мы перейдемъ теперь къ знакомству и сълучшими ихъ представителяминапримъръ, съ Бельтовымъ и Рудинымъ. Этого знакомства будетъ совершенно достаточно для возможности построенія нѣкоторыхъ общихъ выводовъ.

IV.

Раздвоенность—главная черта и Бельтова, и Рудина, и другихъ лучшихъ лишнихъ людей. Съ одной стороны—реалистическія тяготѣнія, съ другой—романтическіе порывы; вст они поэтому братья по духу лермонтовскаго Печорина, хотя и безъ его демонизма. Эти лишніе люди задыхались въ своемъ стремленіи вырваться, во-первыхъ, изъ мѣщанства, во-вторыхъ—изъ реалистическаго міровоззрѣнія; въ этомъ тщетномъ стремленіи встав ихъ "рефлексія заъла" и непосредственнаго въ нихъ не осталось ничего. Вставъ

этимъ они показали свою величайшую слабость, которая составляеть характерную черту всёхъ лишнихъ людей.

Воть, напримъръ, Бельтовъ. Жиль онъ только для того, чтобы «промаячить жизнь»; поэтому онъ за все хватался и все бросаль на поль-дорогьюриспруденцію, медицину, живопись. Сдълать чтонибудь онъ не можеть, и самъ называеть себя «безполезнымъ человъкомъ». Онъ понимаеть, что это почти фатально, что надо измънить не себя, а условія среды, т.-е. побъдить въ борьбъ за индивидуальность; но для этого у него не хватаетъ силъ. «Кандидатовъ на все довольно, — ут вшаетъ себя онъ: занадобится исторіи — она беретъ ихъ; нътъ — ихъ дело, какъ промаячить жизнь». И онъ маячить жизнь, не принимаясь за дело, но гордясь зато, что иметть «трезвый взглядь, можеть, безотрадный, грустный, но зато истинный». На это самъ Герценъ устами Père Joseph'a справедливо вогражаетъ: «не должно же тотчасъ класть оружіе; достоинство жизни человъческой въ борьбъ... награду надо выстрадать»,но этоть голось сильнаго человъка пропадаеть для Бельтова втунъ. Его тоже «рефлексія завла», какъ жалуется нъсколько льтъ спустя Гамлетъ Щигровскаго увзда, и этимъ опять возмущается Герценъ, ставя мъткій діагнозь устами д-ра Крупова: «думать, когда надобно пить прекрасное вино, что за это завтра судьба подасть пресквернаго квасу-это своего рода безуміе... это одна изъ моральныхъ эпидемій, наиболье развитыхь въ наше время».

Все это — отрицательныя черты Бельтова; а воть и положительныя. Тупой бюрократизмь эпохи оффицальнаго мѣщанства нашель въ немъ своего злѣйшаго врага. Бельтовъ поступилъ на службу, но не дослужилъ четырнадцати лѣтъ и шести мѣсяцевъ до пятнадцатилѣтняго юбилея своей службы—онъ не

вынесь этой затхлой атмосферы, гдъ чувствовалъ себя отлично его современникъ, дядюшка Адуевъ. Для окружающихъ его чиновниковъ Бельтовъ былъ «протесть, какое-то обличение ихъ жизни, какое-то возражение на весь порядокъ ея». Также ненавистно Бельтову и мъщанство вообще; онъ знаетъ, что лишніе люди (и онъ въ томъ числъ) не могуть удовлетвориться узкой и плоской жизнью безличнаго мъ. щанства: «всего ръже выходять изъ нихъ тихіе, добрые люди, -- говорить Герценъ о лишнихъ людяхъ:-ихъ безнокоятъ у домашняго очага такія мысли»,--конечно, все о томъ же мъщанствъ ихъ жизни. Говоря объ этой ненависти Бельтова къ мъщанству, Герценъ замъчаетъ что это не индивидуальное свойство Бельтова, а вообще всъхъ лишнихъ людей: «нашей душъ несвойственна эта среда (филистерскинъмецкая, патріархально-мъщанская); она не можеть утолять жажды такинь жиденькимь винцомь: она или гораздо выше этой жизни, или гораздо нижено въ обонхъ случаяхъ шире». Мы уже имъли случай упоминать объ этихъ словахъ.

Итакъ, Бельтовъ тиничный лишній человѣкъ, слабый, мятущійся; злѣйшій врагъ мѣщанства—съ мѣщанскими черточками характера; человѣкъ ищущій и ненаходящій. Силы его подавлены тяжелой системой эпохи; онъ одинокъ, онъ не видитъ союзниковъ:—вокругъ все такіе же одинокіе лишніе люди. «Я точно герой нашихъ народныхъ сказокъ,—грустно замѣчаетъ Бѣльтовъ,—ходилъ но всѣмъ распутьямъ и кричалъ—есть ли въ полѣ живъ человѣкъ?—но живъ человѣкъ не откликался». Въ этихъ словахъ вся трагедія личности эпохи оффиціальнаго мѣщанства: система все задавила, не откликался живъ человѣкъ...

Рудинъ, подобно Бельтову и другимъ лучшимъ лишнимъ людямъ, всю свою жизнь провелъ въ исканіп, въ несознанномъ стремленін «за предѣлы предъльнаго». Онъ самъ не знаетъ, за что схватиться. Онъ человъкъ мятущійся, онъ все начинаеть и ничего не кончаетъ; у него есть цълыя груды первыхъ страницъ предполагаемыхъ сочиненій, но до послъднихъ страницъ дъло никогда не доходитъ. То онъ дълается учителемъ гимназіи, то входить въ компанію сь другимъ лишнимъ человъкомъ, чтобы сдълать какую-то ръку судоходной; то занимается агрономіей п т. п. — въчная исторія лишнихъ людей! «Выдержки во мет не было, сознается въ концъ концовъ самъ Рудинь; -- строить я никогда ничего не умъль; да и мудрено, братъ, строить, когда почвы-то подъ ногами нъту»... Почвы подъ ногами дъйствительно не быловъ этомъ была вина эпохи и системы оффиціальнаго мъщанства; но не было и выдержки въ Рудинъ, хотя это была не вина его, а бъда его (по выраженію Чернышевскаго). Выдержки не было, ибо была раздвоенность реалистическихъ тяготъній и романтическихъ порывовъ; была ненависть къ мъщанству н были налицо мелкія мъщанскія черточки. Отъ раздвоенности происходила и слабость лишнихъ людей, полное неумъние върно направить свои силы, при желанін во что бы то ни стало пустить нхъ въ дъйствіе. Въ этой активной слабости — еще одна черта, характерная для лишняго человъка, въ противовъсъ пассивной силь мѣщанской толпы.

Рудинъ красноръчивъ, увлекаетъ многихъ своими словами, способенъ произвести сильнъйшее впечатлъніе. "Онъ говорилъ мастерски увлекательно, но не совство ясно" — якобы отъ обилія мыслей, а въ дъй-

ствительности отъ того отсутствія почвы, которое мъшаетъ Рудину имъть опредъленный фундаментъ. Вследствіе этого конечно "слова Рудина такъ п остаются словами и никогда не стануть поступкомъ", развъ только случайная вспышка завлечеть его за предълы словъ; тогда онъ можетъ честно и красиво умереть ил баррикадъ съ краснымъ знаменемъ въ рукъ. Но это только вспышка. Вообще же говоряего тоже "рефлексія забла", и въ этой его книжности, въ этомъ отсутствін непосредственности отчасти сказалось вліяніе системы и эпохи оффиціальнаго м'єщанства. У него есть "проклятая"привычка "каждое движеніе жизни, и своей, и чужой, пришинливать словомь, какъ бабочку булавкой"; у него часто интеллекть преобладаеть надъ инстинктомъ, и, быть можетъ, отчасти върно то замъчаніе, что Рудина какъ китайскаго болванчика, постоянно перевъшивала голова.

Чтобы покончить съ немногими чертами роднящими Рудина съ мъщанствомъ, скажемъ еще объ его эгонзмъ, на который совершенно върно указываеть Мефистофель романа, Пигасовъ. "Скажетъ я,говорить онъ про Рудина,--и съ умиленіемъ остановится... \mathcal{A} , моль, \mathfrak{A} "... Онъ чувствуеть себя выше другихъ людей и конечно, отчасти, имъетъ на это право, такъ что неудивительно, что свою личность онъ ставитъ центромъ всего. Ничтоже сумияся онъ называеть себя "геніемь", но въ то же самое время, выставляя свою личность на первый планъ, онъ жестоко осуждаеть мъщанскую узость и эгонзмъ, видящій свъть только въ своемъ окошкъ. Для него себялюбіе — самоубійство, самолюбіе — источникъ всего великаго; "человъку надо надломить упорный эгоизмь своей личности, чтобы дать ей право себя высказывать ".

Слабость Рудина ярче всего сказалась въ его

исторіи съ Натальей, мы здёсь имбемъ постоянное у Тургенева столкновение слабаго мужчины съ сильной женщиной. Воть когда сказалось все мъщанство, все безличіе, вся безхарактерность Рудина. Н. П. читаль Асъ нотаціи изъ кодекса мъщанской морали. Рудинъ даетъ Натальъ знаменитый совътъ — "покориться", точь въ точь тотъ же совъть, который въ это самое время гончаровскій Штольцъ давалъ Ольгъ... У Рудина нътъ силъ идти на сознательную борьбу съ людьми, со взглядами эпохи, съ мъщанской моралью; и онъ остается одинокимъ всю свою безпріютную жизнь. Кстати зам'єтить, что одиночество-постоянная черта ивщанъ-эгопстовъ, въ родв дядюшки Адуева; но оно не имъетъ ничего общаго сь одиночествомъ лишнихъ людей. Мъщане одиноки оть эгоизма, лишніе люди — оть слабости воли; однако основание этому общее и лежить въ эпохъ и системъ оффиціальнаго мъщанства. Эгонзмъпрямое дътище этой угнетающей и обособляющей личность системы; слабость лишнихъ людей имъетъ свое основание тамъ же. Отсюда ихъ одиночествоодиночество чувства, мысли. Поэть той эпохи мътко охарактеризовалъ это двумя-тремя строками:

> Есть у насъ люди, а общества нѣтъ: Русская мысль въ одиночку созрѣла, Да и гуляетъ безъ дѣла.

Такое одиночество было участью всёхь лишнихъ

людей, было участью и Рудина.

Несмотря на наличность нѣкоторыхъ чертъ мѣщанства, какъ однако безконечно далеки отъ него Рудины! Свое мѣщанство они искупали самосознаніемъ, они казнили себя—и казнь эта не всегда доставляла имъ мучительную радость горечи. Рудинъ съ ужасомъ сознаетъ, что въ немъ неразрывнымъ узломъ связано мѣщанство съ медивидуализмомъ,—

и, быть можеть, въ этомъ сознаніи худшее проклятіе жизни всвхъ лишнихъ людей. Это роковое сплетение ницивидуализма съ мъщанствомъ ясно бросается въ глаза и представляеть изъ себя ту загадку, которую не могь разръшить товарищъ Рудина, Лежневъ: "ты для меня быль всегда загадкой, -- сознается онъ; -даже въ молодости, когда, бывало, послѣ какойнибудь мелочной выходки ты вдругь заговоришь такъ, что сердце дрогнеть, а тамъ — опять начнешь... даже тогда я тебя не понималъ". Для насъ теперь эта загадка ръшена, такъ какъ мы знаемъ, что Рудинъ представлялъ собой нъчто средне-пропорціональное между "ивщанствомъ" и "индивидуализмомъ". А что въ Рудинъ есть объщающие задатки индивидуализма, это — несомивно, это высказываеть и самъ Тургеневъ устами того же Лежнева. Рудинъне мелкій человѣкъ, говоритъ Лежневъ, "въ немъ есть энтузіазмъ... Мы всь стали невыносимо разсудительны, равнодушны и вялы; мы заснули, мы застыли—и спасною тому, кто хоть на мигь насъ расшевелить и согрѣеть "...

Въ этомъ отнешени Рудинъ полная противоположность всёмъ этимъ разсудительнымъ, равнодушнымъ и вялымъ Адуевымъ, Штольцамъ и
прочей мъщанской компаніп. Не-мъщанинъ Рудинъ
умъетъ остаться нищимъ, въ то время какъ добродътельные мъщане, округляя помаленьку свои капитальцы, то демікъ выстроятъ, то купятъ деревеньку;
въ то время какъ эти добродътельные мъщане, пробиваютъ себъ дорогу къ благамъ міра своей пассивной силой, Рудинъ погибаетъ отъ своей активной слабости. То отсутствіе выдержки, та разбросанность, которыя составляютъ характерную черту
лишнихъ людей, являются полной противоположностью
выдержкъ и разсудительности мъщанства; конечно,
если "смотръть въ корень", то не трудно увидъть,

что нассивная сила мъщанъ и активная слабость лишнихъ людей коренились объ въ системъ и эпохъ оффиціальнаго мъщанства, по одна и та же причина въ двухъ различныхъ средахъ дала различныя слъдствія. Воть почему отсутствіе выдержки, разбросанность такъ характерны для анти-мъщанства лишнихъ людей, будучи въ то же время слъдствіемъ системы оффиціальнаго мѣщанства. Когда всѣ пути были заказаны и всё дороги переръзаны, то человъку, не желающему примириться съ разсудительнымъ мъщанствомъ, только и оставалось бресаться во всъ стороны, искать выхода. Не многіе нашли его; не нашелъ его и Рудинъ, но за это жестоко бросать въ него камнемъ осужденія. Рудинъ, какъ и многіе лишніе люди, -жертва нечерияя тяжелаго хода русской исторической жизни; не надо забывать этого. Воть уже третій разь русскому интеллигенту пришлось играть роль жертвы вечерней: въ первый разъ пострадала интеллигенція XVIII-го въка въ борьбъ за соціальные идеалы; затьмъ погибли въ борьбъ за идеалы политическіе; декабристы теперь, какъ слъдствіе всего этого, гибли лишніе люди, гибли Чацкіе, Онътпны, Печорины, Бельтовы, Рудины въ гнетущей атмосферъ эпохи оффиціальнаго мѣщанства.

Конечно, это только внёшняя сторона истины; внутренняя ея сторона лежить неизмёримо глубже: она лежить въ той раздвоенности между реалистическими и романтическими элементами сознанія, которую мы уже видёли у Лермонтова. Умъ съ сердцемъ не въ ладу не у одного Чацкаго, но и у всёхъ лишнихъ людей; борьба интеллекта съ инстинктомъ по существу тождественна противоренію между реалистическими тяготёніями и романтическими порывами: это то же самое, выраженное пит mit ein bischen andern Worten. Но раздвоенность

эта никогда не восходила до сознанія лишняго человъка: онъ всегда смутно чувствоваль весь безысходный трагизмъ своего положенія, но никогда не могь формулировать и понять вопроса во всей его сложности и полнотъ.

VI.

Что же такое въ концъ концовъ представляютъ изъ себя лишніе люди? Это ни павы, ни вороны крыловской басни: отъ воронъ они отстали, а къ павамъ не пристали; отъ мъщанскаго берега адуевщины они отчалили, но до берега индивидуализма не доплыли, и остались гдъ-то между небомъ и землей, безъ руля и безъ вътрилъ. Они всегда имъютъ возможность войти въ болотистую бухту мъщанства, но съ ужасомъ бъгуть "вонъ изъ мпрной, тихой пристани, гдъ только плъсень зеленая, тина мягкая, да квакающія лягушки, —дальше отъ нихъ туда, гдъ только волны да небо" (слева Бълинскаго). Однако, помимо своей воли, помимо своего желанія, лишніе люди во многомъ подчиняются вліянію мъщанства эпохи и усванвають себъ многія его черты, иные въ большей, иные въ меньшей степени; они являются поэтому чёмъ-то среднимъ пропорціональнымъ между индивидуализмомъ и мѣщанствомъ. Въ этомъ ихъ вторая раздвоенность, настолько же неразръшимая и трагическая, какъ п первая; неразрѣшимая главнымъ образомъ вслъдствіе слабости лишнихъ людей.

Лишніе люди—слабые люди, одинаково отличающіеся этимъ своимъ качествомъ какъ отъ тишиныхъ мѣщанъ, такъ и отъ лучшихъ представителей русской пителлигенціи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Эти лучшіе люди отличались

иктивной силой, они боролись за права человъка и общества, они сознательно или на страданія, на гибель—и не уступали ни пяди дороги. Мѣщане—это толпа; они не ведуть, они идуто за, и въ этомъ ихъ страшная пассивния сила стада. Лишніе люди пробують вести впередъ, но въ этой ихъ активности сейчась же фатально сказывается ихъ слабость: не окончивь призыва впередъ, они стушевываются въ рядахъ мѣщанской толпы до новой вспышки (вспомните, напримѣръ, исторію Рудина съ Натальей и его совъть "подчиниться"). Эта активная слабость лишнихъ людей, о которой мы уже говорили выше, тѣсно связана съ ихъ раздвоенностью, составляющей основную объясняющую черту этого типа.

Каково значеніе, какова роль лишнихъ людей въ исторіи эволюціи русской интеллигенціи? Роль эта была громадна и въ ихъ борьбъ съ мъщанствомъ, и въ ихъ борьбѣ за индивидуализмъ. Лишніе люди были передаточной пистанціей въ невольной пропагандъ среди широкихъ круговъ публики идей главныхъ представителей русской интеллигении тридцатыхь и сороковыхь годовь; они образовали новые кадры грядущей разночинной интеллигенціи и безсознательно подготовляли почву для расцвъта идей такъ называемой "эпохи великихъ реформъ". Въ то время, когда они работали, -- а мы видъли, что лишніе люди густой толной появилась только въ эпоху террора системы оффиціальнаго мѣщанства, - политическіе и соціальные вопросы были совершенно изъяты изъ употребленія средняго россійскаго обывателя; поэтому и лишнимъ лидямъ пришлось ограничиться вопросами личной морали. "У насъ, русскихъ – заявляеть одинь изъ лишнихъ людей у Тургенева, - нътъ другой жизненной задачи, какъ опять таки разработка нашей личности, и вотъ мы, едва возмужалыя дёти, уже принимаемся разрабатывать ее, эту нашу неечастную личность ...

Иными словами-работа лишнихъ людей не выходила изъ чисто теоретической области; они были людьми слова, за что ихъ неоднократно и осуждали. Но не намъ бросать въ нахъ камнемъ. Надо помнить, что они съяли доброе съмя въ эпоху всеобщаго разложенія и подавляющаго мѣщанства: слово ихъ было ихъ дъломъ. Правда, они сами не избъжали въ многомъ пагубнаго вліянія этого мѣщанства, они были только среднимъ членомъ отношенія между м'єщанствомъ и индивидуализмомъ, но и это было уже не мало въ эпоху полнаго торжества мъщанства и безличія. Упрекать ихъ въ бездеятельности — глубоко несправедливо; можно отвътить на это словами Герцена: "что такое дѣло?.. По-моему служить связью, центромъ цълаго круга людей - огромное дъло, особенно въ обществъ разобщенномъ и скованномъ". ("Былое и Думы").

Эгу роль сыграли лишніе люди. Въ эпоху темной власти мъщанства они первые вступили въ борьбу съ мъщанствомъ и послужили связующимъ звеномъ лучшихъ завътовъ прошлаго русской жизни и сознанія съ наступавшими шестидесятыми годами. Тоть анти-мѣщанскій взрывъ, которымъ ознаменовались шестидесятые годы, - взрывъ, охватившій всъ горазонтальные слоп и вертикальныя раздёленія общества, не могь бы произойти безь предварительной незамътной работы лишнихъ людей. Лишніе люди были темъ ферментомъ разложенія мещанскаго уклада и мыщанскихъ идеаловъ, который въ теченіе цълаго десятильтія просачивался во всь поры торжествующаго мъщанства и безсознательно способствоваль его разложенію. Съ этой точки зрвнія роль лишнихъ людей громадна; они явилисъ искупительной жертвой русской интеллигенціи системъ и эпехъ оффиціальнаго м'єщанства; встони, не сознавая того, полегли костьми за дальнтійшее развитіе индивидуализма и на ртшительную погибель м'єщанству. "Даромъ ничего не дается—судьба жертвъ искупительныхъ проситъ"...

Конечно, не ко встмъ лишнимъ людямъ примънимо все это: мы говоримь только о наиболее яркихт типахь, въ родъ Бельтова, Рудина и имъ подобныхъ. Говоря о нихъ, можно совершенно серьегно употребить проническую фразу Чернышевскаго: лишніе люди-лучшіе люди. Это действительно такъ и есть. Лишніе люди — лучшіе люди своего времени, и на нихъ мы легче всего можемъ увидъть, что дълала съ лучшими людьми эпоха оффиціальнаго мъщанства: прямымъ следствіемъ этой эпохи явились мещане, обратнымьлишніе люди. Лучшіе люди обращались въ лишнихъ людей подъ давленіемъ убивающей личность эпохи; но эпоха эта не могла убить ихъ ненависти къ мъщанству, хотя и изломала ихъ въ другихъ отношеніяхъ. Лишніе люди сдёлались безсознательными (а иногда и сознательными) проповѣдниками анти-мѣщанства, а потому совершенно понятна ихъ роль, ихъ значение въ развити индивидуализма въ русской жизни и литературъ.

Какова была судьба лишнихъ людей? Что съ ними стало въ следующія десятилетія? Большинство изъ нихъ легло костьми до наступленія шестидесятыхъ годовъ; оставшіеся же въ живыхъ на полё брани не остались на немъ победителями. Ихъ роль была уже сыграна въ самомъ процессе борьбы. Вместе съ шестидесятыми годами пришелъ разночинецъ, и только немногіе изъ лишнихъ людей пристали къ нему—слишкомъ различны были ихъ міровоззрёнія. Послё 1861 года лишніе люди мало-по-малу сбращаются въ "кающихся дворянъ"— и мы еще будемъ имёть случай прослёдить за развитіемъ этого типа.

Окончательный выводъ: лишніе люди были лишними не по отношенію къ обществу, а только по отношенію къ самимь себѣ. Они не сумъли примирить "реалистическихъ" и "романтическихъ" элементовъ своего духа, не сумъли переплыть отъ "ивщанства" къ "пидивидуализму", не сумъли стать побъдителями въ борьбъ за пидивидуальность, т.-е. приспособить къ себъ среду. Поэтому они и были лишними самя для себя. Но для общества ихъ значение громадно: они, п только они, помогли высшей части русской интеллигенцін тридцатыхъ и сороковыхъ годовь создать новые кадры дъятелей взамънъ погибшихъ въ годъ декабрьской революціи. Поэтому лишніе люди занимають почетное м'єсто въ исторіи борьбы русской интеллигенцін за права человізческой личности, за общественность и индивидуализмъ противъ мъщанства.

Знакомствомъ съ лешними людьми мы закончимъ обзоръ эпохи оффиціальнаго мѣщанства и больше не будемъ къ ней возвращаться. Эго не значить, чтобы вмѣстѣ съ 1855 годомъ отошла въ вѣчность и система оффиціальнаго мѣщанства; далеко нѣтъ: нослѣ короткаго промежутка такъ называемой "эпохи великихъ реформъ", система оффиціальнаго мѣщанства снова начинаетъма ло-но-малу возвращаться въ русскую жизнь, а съ 1881 года опять воцаряется на новую четверть вѣка. Но это второе царствованіе системы оффиціальнаго мѣщанства не внесло собой ни единаго новаго слова: оно было только повтореніемъ перваго, ибо во вторую четверть ХІХ-го вѣка система эта исчерпала себя до дна.

Но довольно: пора выйти изъ этого затхлаго под-

Триццатые годы.

I

На мрачномъ общемъ фонъ эпохи оффиціальнаго мъщанства яркими испрами блестъли лучшіе изъ лишнихъ людей; по они свътали только отраженнымъ свътомъ.

Съ источникомъ этого свъта — съ лучшей частью русской интеллигенцін тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ-намъ предстоитъ теперь познакомпться. Изъ душнаго подполья мы снова выходимъ на свъжій воздухъ; мы поисутствуемъ при возрождении или даже при новомъ зарождении русской интеллигенции, еще сословной по с ставу, но попрежнему безсословной и внъклассовой по цълямъ и уже вскормившей на своей груди такого велыкаго представителя интеллигенціп, какимъ быль разночинець Бълинскій. Бълинскій, Станкевичь, Бакунинь, К. Аксаковъ, Герценъ, западники и славянофилы-такова та блестящая страница изъ исторіи русской интеллигенціи, къ прочтению которой мы приступаемъ. До сихъ поръ мы видъли въ русской жизни и литературъ только зародыши индивидуализма, достигшие полнаго развитія лишь въ художественномъ творчестев Пушкина и Лермонтова; теперь мы увидимъ начало индивидуализма и въ русской критической мысли, критической-въ области соціальной, экономической, этической. Правда, это будеть только начало, но по этому началу можно судить о гигантскомъ шагъ

впередъ, сдъланномъ русской интеллигенціей. Пусть это только зародышь—но правъ быль Бълинскій, говоря, что "русская личность пока эмбріонъ, но сколько широты и силы въ натуръ этого эмбріона, какъ душна и страшна ей всякая огравиченность и

узосты!.. "

Тысяча восемьсоть двадцать нятый годь-ръзко раздъляеть первую п вторую четверть русской жизни XIX-го въка: съ этимъ годомъ соединена гибель почти всей русской интелингенцін двадцатыхъ годовъ. Гибель декабристовъ была началомъ конца сословности русской интемлигенцін; съ этихъ именно поръ интеллигенція начинаетъ мало-по-малу становиться по составу своему внъклассовой и безсосновной. Появляется "разночинецъ". Въ годъ гибели декабристовъ, въ годъ полнаго разгрома дворянской по составу русской интеллигенции, на литературной сценъ выдвигается ввередъ разночинент Полевой, начиная изданіе "Московскаго Телеграфа", перваго русскаго журнала ст ты ячами подинечиновъ. Всятдъ за нимъ въ ряды русской интеллигечній входить Надеждинъ и, наконецъ, Бълинскій, перепидывающій мость къ шестидесятимь годамъ, погда огремной толной "разночинець пришель", могда русская интеллигенція стала въ своемъ цъломъ безсословна и внъплассова не только по духу, но и по составу. Разгромъ интелингенцін драдцатыхъ годовъ нанесъ смертельный ударь политическому либерализму, попыткъ синтеза личности и государства, и вторая четверть XIX-го въка властно подавляеть подобные запросы: наступаеть гнетущая эпоха оффиціальнаго мъщанства, та эпоха, о которой можно сказать зна-. менитыми словами кн. Волконскаго, что въ это время въ Россіи не было общества, а было одно народонаселеніе. Въ предыдущей главъ мы познакомились съ этой эпохой, съ тормествомъ ед системы; мы

увидимъ теперь, что эпоха оффиціальнаго мѣщанства была въ то же время эпохой высшаго и интенсивиѣйшаго развитія русской интеллигенцій, что системѣ оффиціальнаго мѣщанства не удалось подавить личность и обратить въ "народонаселеніе" русскую интеллигенцію.

Въ 1825 году погибла русская интеллигенція двадцатыхъ годовъ; приблизительно въ это же время допівваль свои посліднія пісни русскій сентиментальный исевдо-романтизмь Жуковскаго. Вифстф съ мужавшимъ Пушкинымъ въ русскую литературу входиль реализмъ, первымъ и яркимъ проявленіемъ котораго быть "Евгеній Онъгинъ" (до конца 1825 года написана половина) и "Борисъ Годуновъ"; но въ то время мало-по-ману зарождалась новая же самое русская интеллигенція, знаменемъ которой сталь опать романтизмъ, на этотъ разъ философиній. Съ этой вснышки философскаго романтизма начинается исторія русской интеллигенцін второй четверти XIX-го въка, а предшественницей этой интеллигенціп тридцатыхъ годовь является небольшая группа "пдеалистовъ" первой четверти этого стольтія. Двалцатые и тридиатые годы явились крайне важнымь подготовительнымъ періодомъ развитія тъхъ направленій русской общественной мысли, вершина которыхъ приходится уже на сороковые годы.

Этоть подготовительный періодь является въ то же время и одивмь изъ наиболье блестящихь періодовь въ исторіи русскаго идейнаго развитія. По крайней мюрь именно въ эпоху тридцатыхъ годовъ, т. е. въ промежутокъ времени съ 1826 го по 1840 ой годь, русская интеллигенція въ лиць Кирьевскихъ, К. Аксакова, Станкевича, Бакунина, Бълинскаго, Герцена, Грановскаго. Огарева и др. передумываеть и переживаеть всю многообразную умственную жизнь Запада, начиная съ философскихъ

Пеллинга и Гегеля и кончая соціалистысистемъ ческими пдеалами сенъ-симонизма. "Въ это десятилътіе мы перечувствовали, неремыслили и пережили всю умственную жизнь Европы, эхо которой отдалось къ намъ черезъ Балтійское море", писаль Бълинскій еще въ серединъ тридцатыхъ годовъ (,,Литературныя мечтанія (), не подозръвая, что находится далеко не въ концъ этого пути-пути усвоенія и переработки западной мысли. Этотъ процессъ усвоенія Белинскій быль склоненъ судить очень строго: "мы обо всемъ нересудили, обо всемъ нереспорили, все усвоили себъ, ничего не взрастивши, не взлелъявши, не создавши .сани. За насъ трудились другіе, а мы только брали готовое и пользовались имъ: въ этомъ-то и заключается тайна неимовърной быстроты нашихъ усиъховь и примина ихъ неимовфрной непрочности"... Это-лучшій эпиграфъ ко всей эпохѣ тридцатыхъ годовъ Конечно, далеко не "обо всемъ" переспорили и передумали люди тридцатыхъ годовъ къ тому времени, когда Бълинскій писалъ эти слова (1834 г.): русской мысли еще предстояло пройти черезъ фазы фихтіанства и гегельянства, т.-е. совершить существенную часть пути своего развитія; съ другой стороны, люди тридцатыхъ годовъ далеко не "только брали готовое" изъ области западно-европейской иысли: самъ Бълпнскій подтверждаеть, что они всъ эти взятыя мисли , передумывали", т.-е. претворяли нхъ въ нъчто собственное, въ плоть оть плоти и кость оть костей своихь. Но въ общемъ Бѣлинскій правъ, указывая на "наимовърную быстроту" умственнаго развитія и на "неимов'єрную непрочность" его, какъ на характерный признакъ эпохи тридцатыхъ годовъ; дъйствительно, тридцатые годы характеризуются, съ одной стороны, быстрымь ростомь русской мысли, а съ другой — не менъе быстрой смъной разныхъ идейныхъ теченій. Ясно, что оба эти явленія находятся въ тёсной причинной связи другъ съ другомъ: быстрая смёна умственныхъ теченій была слёдствіемъ бурнаго внутренняго развитія людей тридцатыхъ годовъ и, въ свою очередь, становилась однимъ изъ причинныхъ факторовъ дальнъйшаго идейнаго роста. Нашей задачей и является возстановленіе всего этого причиннаго ряда; возстановить его—значитъ опредёлить внутреннюю идейную зависимость эпохи тридцатыхъ годовъ отъ предыдущей и ея вліяніе на послёдующую, значить объяснить эволюцію общественной мысли въ самой эпохѣ тридцатыхъ годовъ.

Люди тридцатыхъ годовъ не были піонерами на этомь пути разработки западно-европейской мысли, Правда, между ними и людьми двадцатыхъ годовъ, представителями теченія декабризма, была непереходимая пропасть; но существоваль и тоть мость, который соединяль въ этомъ отношенін двадцатые ц Человъкъ двадцатыхъ годовъ тридцатые годы. Пестель, человъкъ тридцатыхь годовъ-Станкевичь; мы намфренно беремъ высшихъ представителей той и другой эпохи, такъ какъ въ нихъ ярче видна намъ пропасть, раздёлян щая одного отъ другого. Пестельдо мозга костей раціоналисть, вфрный ученикь французскихъ философовъ XVIII стольтія, последователь теорій "Общественнаго договора", воспитанный на Монтескье, Руссо, Вольтеръ, Гельвецін, поклонникъ трактатовъ Сэя и политическихъ экономическихъ памфлетовъ Бенжамэна Констана. Станкевичъ-послъдователь философскаго и литературнаго романтизма, поклонникъ Шеллинга и Шлегеля, одинъ изъ піонерогъ русскаго гегельянства, врагъ французской философіп, одинаково равнодушный и къ экономикъ и къ политикъ. Повидимому, это полный контрастъ; и вполнъ естественно, что ищутъ объяснения возможности этого контраста въ томъ историческомъ фактъ, который отдёляеть Станкевича отъ Пестеля — въ

14-мъ декабря 1825 года. Станкевичъ, какъ тишъдитя общественной реакціи начала николаевскаго царствованія; отсюда его исключительно "философскіе" питересы, его отрицательное отношеніе къ "политокъ" и т. п. Въ такомъ объяснении есть нъкоторая доля истины, но далеко не вся истина; надо обращать внимание не только на вижшния условія, но и на внутренній складъ жизни человѣка, на его духовную организацію. Иначе мы никогда не поймемъ, почему рядомъ съ Пестелемъ возможенъ, напримъръ, кн. В. Ө. Одоевскій, почему рядомъ со Станкевичемъ возможенъ Герценъ; а между тъмъ преемственная связь между Пестелемъ и Герценомъ настолько же несомнънна, насколько и преемственная связь между кружками кн. Одоевскаго п Станкевича. Разница только въ томъ-и причина этой разницы лежить, дъйствительно, въ условіяхь общественной жизни. — что въ тридцатыхъ годахъ первенствовалъ Станкевичь надъ Герценомъ (беремъ этп пмена, какъ обозначевіе типовъ), а въ двадцатыхъ годахъ — Пестель надъ Одоевскимъ. Связь между этими теченіями такова: кружокъ русскихъ шеллингіанцевъ двадцатыхъ годовъ является тёмъ мостомъ, который соединяеть меньшинство интеллигенціи этой эпохи съ большинствомъ людей тридцатыхъ годовъ, точно такъ же, какъ кружокъ Герцена и Огарева является нитью, связывающей меньшую часть интеллигенцій тридцатыхъ годовъ съ громаднымъ большинствомъ людей эпохи декабризма.

Изъ всего этого ясно, что люди тридцатыхъ годовъ не блуждали въ пустынт и не были піонерами въ разработкт научно философской мысли Занада и въ борьбт противъ теорій французскихъ философовъ XVIII вта. Такими піонерами были русскіе шеллингіанцы двадцатыхъ годовъ, счетавшіе своимъ родоначальникомъ перваго русскаго ученика

Шеллинга — профессора Велланскаго, и групппровавшіеся въ двадцатыхъ годахъ вокругъ другого извъстнаго профессора-шеллингіанца — М. Г. Павлова, такъ ярко очерченнаго въ воспоминаніяхъ Герцена. И прежде чъмъ перейти къ изученію общественной мысли тридцатыхъ годовъ, необходимо познакомиться съ міровозъръніемъ того меньшинства русской интеллигенціи эпохи декабризма, которое первое проложило дорогу къ философскому и литературному романтизму Шеллинга и Шлегеля.

II.

Родоначальникомъ русскаго шеллингіанства былъ профессоръ нетербургской медико-хирургической академін Д. М. Велланскій. Въ самомъ началъ XIX въка онъ былъ посланъ въ заграничную командировку для "усовершенія" въ физіологіи, патологіп и гигіень; тамъ онъ сталь последователемь знаменнтой въ то время въ медицинъ школы Броуна (Джонъ Броунъ, "Elementa medicinae", 1779 г.). Эта школа Броуна впоследствій восприняла основные элементы философін Шеллинга; руководителями этой школы были доктора Маркусъ и Решлаубъ (въ Бамбергъ), открыто признавшіе себя учениками Шеллинга и внесте въ медицину основные принцины шеллинговой философіи природы. Посл'я пователемъ этой школы сдълался и Велланскій 1), и, такимъ образомъ, первое знакомство съ измецкой философіей произошло въ Россін подъ эгидой медицины... Уже вь 1805 году Велланскій напечаталь двѣ работы

¹⁾ Изъ работъ самого Шеллинга Велланскому несомнѣнно были извѣстны (ибо отразились въ его собственныхъ изслѣдованіяхъ) «Ideen zu einer Philosophie der Natur» и статьи, печатавніяся въ журналахъ Шеллиніа «Zeitschrift für speculative Physik» и «Kritische Journal der Philosophie».

философско-медицинскаго характера, а въ 1812 году выпустилъ въ свътъ "Біологическое изслидованіе природи въ творящемъ и творимомъ ел качествъ, содержащее осносния начертанія всеобщей физіологіи". Книга эта получила широкое распространеніе и можеть, по справедливости, считаться тъмъ фундаментомъ, на которомъ строили свое міровозъртніе русскіе шенлингіанцы двадцатыхъ годовъ. И Велланскій быль совершенно правъ, заявляя внослёдствіи (въ письмъ къ вн. В. Одоевскому отъ 17-го іюня 1824 г.): "я первый возвёстилъ россійской публикъ о новыхъ познаніяхъ... которыя... образовались и созрёли въ Шеллингъ". Выступившій въ двадцатыхъ годахъ съ процовъдью шеллингіанства профессоръ Павловъ нашель уже ночву значительно подготовленной.

Не одному Велланскому принадлежить, однако, заслуга подготовки почвы для усвоенія идей нёмецкой философін. Еще въ "Московскихъ Ученыхъ Въдомостяха" (1805—1807 гг.) извёстный въ то время московскій профессорь Буле напечаталь критическій разборъ "Yorlesungen über die Methode" etc. Шеллинга, а въ "Сиверномъ Вистники" 1805 г. было помъщено "Письмо о критической философіи" профессора философін Лубкина; любопытно свидътельство нъкоего фонъ-Хорна, тоже московскаго профессора философіи, что въ 1812 году критическая философія уже распространилась въ Россіи. Во всякомъ случат, уже въ 1813 году въ Харьковъ было переведено и напечатано "сочиненіе Ивана Фихта" ("Sonnenklarer Bericht über das Wesen" etc.; въ переводъ озаглавлено: "Яснъйшее изложение, въ чемъ состоить существенная спла новъйшей философіи"), а вотчимъ Ивана и Петра Киръевскихъ, А. А. Елагинъ, бывшій сперва послъдователемъ Канта, въ 1819 г. перевелъ шеллинroberia "Phelosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus". Вообще Канть — и это, какъ мы уви-

димъ, характерно для исторіи русской (и не только русской) мысли и двадлатыхъ и тридцатыхъ годовъстояль на заднемъ планъ и всегда былъ заслоненъ то Шеллингомъ, то Фихте, то Гегелемъ; не даромъ Иванъ Кирфевскій въ одномъ изъ сроихъ писемъ двадцатыхъ годовъ утверждалъ, что "читатели Канта относятся къ читателямъ Щеллинга — какъ 5 къ 5000"... Несомнънно во всякомъ случать, что среди части молодении двадцатыхъ годовъ нъмецкая философія находила пока немногочисленныхъ, но горячихъ приверженцевъ. По свидътельству Надеждина, къ 1820-ому году существовали цълые рукописные переводы основныхъ работъ Канта, Фихте и Шеллинга; на торжественныхъ университетскихт актахъ профессора выступали съ ръчами, посвященными критикъ или восхваленію нѣмецкой философіи, особенно въ ея приложени къ этикъ (напр., ръчи проф. Лубкина и Срезневскаго на актакъ Казанскаго университета въ 1815 и 1817 гг.).

Все это ясно показываеть, что нъменкая философія въ Россіп явилась не сразу во всеоружін, какъ Аенна изъ головы Зевса, но прошла долгій и послъдовательный путь развитія. Къ двадцатымъ годамъгодамъ расцевта денабризма - сна была еще достояніемъ меньшинства русской интеллигенціи, но все же съ ней уже начинали считаться. Сторонники политическаго либерализма и французской философіи съ пренебреженіемъ отзывались о "безпонятной Кантовой философін" ("Духъ Журналовъ", 1820 г., ч. IV) и недоумъвали ,,по какому чудесному обстоятельству Шеллингъ не преподаетъ ученія своего въ домъ сумасшедшихъ!" ("Въсти. Евр.", 1817 г., ч. ХСУ, стр. 259). И въ то же время въ этихъ журналахъ помъщались статьи о "безпонятной философіи". Правда, статьи эти помѣшались съ редакціонными оговорками въ такомъ, напримъръ, родъ: "просимъ

великодушнаго терпенія у читателей. Немецкая галиматья и въ русскомъ переводъ не можеть не быть галиматьею же"... (ibid); правда въ журналахъ помъщались иногда цълыя пародін на "Шеллингову философію", но все же съ этой "галиматьею" мало-помалу начинали счигаться, а въ некоторыхъ пругахъ ея начинали уже и бояться. Знаменитый разгромъ университетовъ въ последние годы царствования Александра I быль вызванъ развитіемъ именно иъмецкой философіи: оффиціальный мистицизмъ конца двадцатыхъ годовъ видълъ въ критической философіи своего смертельнаго врага. Магинцкій, обезсмертившій свое имя этимь разгромомь университетовь, называль философію Шеллинга "богопротивной" п характеризооваль ее, какъ "вольнодумство и разврать"; профессорь естественнаго права Солнцевь быль уволень изъ Казанскаго университета за свое "кантіанство"; за это же нъсколько позднъе профессоръ Бѣлоусовъ былъ не только уволенъ, но и высланъ на родину подъ надзоръ полицін; наконецъ, противъ извъстнаго въ то время профессора философін Галича было выставлено обвинение, формулированное въ слъдующихъ безсмертныхъ словахъ: онъ де "явно предпочитаеть " язычество - христіанству, распутную философію -дівственной Невість, церкви Христовой, безбожнаго Канта-Христу, а Шеллинга - Духу Святому...

Конечно, не такому изувърному обскурантизму Магницкаго и присныхь его было остановить развите идей ивмецкой фалософіи среди людей двадцатыхь годовь; и неудивительно, что въ самый разгаръ университетскихъ разгромовъ (1821—1823 гг.) въ Москвъ окоънъ и силотился около профессора Павлова тоть кружокъ русскихъ шеллингіанц въ, о которомъ у насъ была уже ръчь на предъидущихъ страницахъ. Въ 1823 г. организовалось одно литератур-

ное общество (вокругь литератора Ранча, еще и теперь не совстви забытаго, благодаря сравнительно недурнымъ переводамъ "Неистоваго Орланда" п "Освобожденнаго Герусалима"); на засъданіямъ этого общества читались рефераты по исторіи, литературѣ, философіи—такъ, напримъръ, кн. В. Ө. Одоевскій читаль свои переводы изъ Окена, А. И. Кошелевъпереводы изъ Платона, Д. В. Веневитиновъ-статью "Нъсколько мыслей въ планъ зкурнала". (Эта последняя мысль членовъ кружка объ изданіи журнала скора была осуществлена Полевымъ: въ 1825 году появился "Московскій Телеграфъ", а нѣсколько поздне сами "архивные юноши" попытались издавать "Московскій Въстникъ", о которомь рычь будеть ниже). Отъ этого Раичевскаго литературнаго общества вскоръ отдълилось философское обществототь самый кружокь русскихъ шеллингіанцевь, с которомь мы говорили выше; главными членами еге были кн. Одоевскій, Веневитиновъ, Иванъ и Петръ Киръевскіе, Кошелевъ, Шевыревъ, Погодинъ, Соболевскій и др., а нісколько поздніве-Кюхельбекерь. Изъ нихъ почти всъ, за псключеніемъ Одоевскаго, Погодина н Кюхельбекера, служили въ это время въ московскомъ архивъ мянистерства иностранныхъ дълъ, почему внослъдствии и получили съ легкой руки Соболевскаго и Пушкина, прозвище "архивныхъ юношей" (см. "Евгеній Онъгинъ", гл. VII, строфа XLIX). Роль этихъ "архивныхъ юношей" и вообще шеллингіанцевъ двадцатыхъ годовъ въ исторіи русской литературы довольно значительна хотя бы по одному тому, что они, повидимому, оказали воздействе на Пушкина въ области развитія его литературныхъ п эстетическихъ взглядовъ, какъ мы это еще увидимъ ниже. Что же касается ихъ философскаго кружка, который былъ ими окрещенъ "Обществомъ любомудрія", то кружокъ этотъ быль закрытый, котя и имъншій

и уставъ и протоколы засёданій (къ сожалёнію, сожженные Одоевскимъ послё 14-го декабря 1825 г.). Въ литературё этотъ кружокъ проявиль себя изданіемъ че гырехтомнаго альманаха "Мнемозина" (1824 г.), въ то время оставшагося мало заміченныхъ въ широкой публике, но им'віощаго въ настоящее время значительную историко-литературную ціность. Мы остановимся на этомъ альманахів, поскольку въ немъ отразилось міровозарівніе русскихъ шеллингіанцевъ эпохи двадцатыхъ годовъ, сотрудниковъ "Мнемозины" и членовъ упомянутаго выше "Общества любомудрія".

III.

«Любомудріе» было направлено, главнымъ образомъ, противъ французской и англійской философіи, противъ раціонализма и эмпиризма во всёхъ ихъ проявленіяхъ. «До сихъ поръ Философа не могуть себъ представить ппаче, какъ въ образъ французскаго говоруна XVIII въка; посему-то мы для отличія и называемъ истинныхъ Философовъ — Любомудрами», -- заявлялъ кн. Одоевскій въ «Мнемозинъ». (Кстати замътить, что слово «любомудріе» не впервые введено русскими шеллингіанцами, а постоянно встрвчается въ русской литературв XVIII ввка, особенно въ масонской). Борьба съ «офранцуженными теоріями» — главная задача «Мнемозины». Первая же книжка этого альманаха открывается извёстнымъ апологомъ кн. Одоевскаго «Старики или островъ Панхаи»: тамъ старички-младенцы складываютъ песчинку къ несчинкъ, думая соорудить громадное зданіе-это занятіе называется «опытными знаніями»; другіе старики-младенцы размъривають землю для этой постройки и каждый мърить своимь аршиномъэто занятіе носить названіе «офранцуженныхь теорій»...

А рядомъ съ этими «стариками-младенцами» живутъ «вѣчно-юные старцы», «безсмертные юноши» (конечно, это - идеализированные «архивные юноши»): ихъ немного, «большая часть даже не знаеть о существованіи сихъ юношей», но они пренебрегаютъ мнъніемъ толиы стариковъ-младенцевъ и стремятся «къ возвышенному»... И наши «архивные юноши» поставили задачей «Мнемозины» — «положить предълы нашему пристрастію къ Французскимъ Теорикамъ», показать, что «новое ясное солнце, восходя отъ страны древнихъ Тевтоновъ, уже начинаетъ лучами выспренняго умозрѣнія освѣщать безконечную окружность познаній» («Мнемозина», ч. І, стр. 8-10, 182; ч. ІV, стр. 233). Эго «выспреннее умозръніе» было, конечно, шеллингіанство, легшее въ основу и «Мнемозины» и «Общества любомудрія».

«Вы не можете себъ представить, --писаль впослъдствіи Одоевскій во вступленін къ своимъ «Русскимъ Ночамъ», -- какое дъйствіе произвела въ свое время шеллингова философія, какой толчокъ дала она людямъ»... Мы не имъемъ возможности остановиться здъсь на изложении философии Шеллинга, но во всякомъ случав должны указать на тв ен стороны, которыя оказали наиболъе сильное вліяніе на русскихъ шеллингіанцевъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Такихъ сторонъ двъ: во первыхъ, философія природы, оказавшая сильное вліяніе еще на Велланскаго, и, во-вторыхъ, философія искусства, особенно повліявшая на позднъйшихъ русскихъ шеллингіанцевъ, вплоть до Станкевича, Философія природы была по преимуществу «профессорской философіей» среди русскихъ шеллингіанцевъ: начиная съ 1805 года и вплоть до конца тридцатыхъ годовь ее неутомимо преподаваль Велланскій въ цёломъ рядё курсовъ и публичныхъ лекцій; въ московскомъ университетъ ее не менте рьяно пропагандироваль Павловъ (къ

слову сказать, тоже одинь изъ сотрудниковъ «Миемозины», номъстившій тамъ статью «О способахъ изсабдованія природы»). Иное дело философія искусства - она запитересовала собою не только спеціалистовъ-философовъ, но и встхъ «романтиковъ» двадцатыхъ годовъ, не удовлетворявшихся болъе старыми «французскими теориками» въ родъ Батте или Лагарна. Извъстно отношение Шеллинга къ романтизму, его близная связь съ Тикомъ, обоими Шлегелями и другими главарями литературнаго романтизма. Шеллингъ по справедливости можетъ считаться философскимь идеологомъ этого замъчательнаго теченія начала ХІХ въка, не говоря уже о томъ, что его философія есть въ сущности геніальная романтика. Извъстна также роль, которую играетъ понятіе «художественнаго творчества» въ конструкціи философіи Шеллинга: роль эта — центральная, лежащая во главъ угла всей системы трансцендентальнаго идеализма.

Міръ есть единый «всеобщій организмъ», индивидъ есть только обведение узкимъ кругомъ, концентрація этого организма; «общимъ идеаломъ природы» является созданіе, творчество такого индивидуальнаго организма, въ которомъ были бы гармонично соединены и абсолютное идивидуальное стремленіе и абсолютный законъ природы (т.-е. свобода и необходимость); послъдовательныя попытки природы достигнуть этого общаго пдеала и составляють то, что мы называемь развитіемь, эволюціей. Это стремленіе къ творчеству есть въ то же время и органическая сила, сила, присущая каждому организму; «стремленіе ль художественному творчеству» свойственно каждому срганизму, но во всёхъ организмахъ, эго стоящихъ на ступеняхъ развитія ниже человъка, творчество является результатомъ не свободы, а необходимости (впослъдствии скажутъ-инстинкта); только въ человъкъ художественное творчество есть

сознательный акть-и въ этомъ отношени челов тъ подобень творящей природь. Весь мірь есть божественное художественное твореніе, весь мірь есть живое произведение искусства; человъкъ въ свою очередь творить, и его творчество есть завершеніе, высшая ступень творящей силы природы. Не есякій человъкъ обладаетъ, однако, эстегическимъ чувствомъ, а тъмъ болъе далеко не всякій обладаеть творческой силой; ею обладають крайне немногіе-геніи. Безь генія нъть вскусства, а есть только ремеслениичество, геній и искусство-понятія соотносительныя; міръ, какъ художественное произведение, завершается твореніемъ генія. (Здъсь Шеллингъ философски обосновываеть ту эстетику романтизма, которая была развита въ литературъ Шлегелеми). И именно въ художникъ-геніи имъется то соединеніе свободы творчества съ необходимостью формъ, которое, какъ мы знаемъ, является общимъ идеаломъ природы; художникъ создаетъ «безконечное, выраженное въ конечной формъ-красоту». И, какъ высшее проявление творческой силы, какъ завершение творящей силы природы, произведение геніальнаго художника не имтеть никакой цтли вит себя: цтль его-въ немъ самомъ, п эта самоцъвь художественнаго произведения является лучшимъ показателемъ высоты и святости искус-CTBa. 1).

Воть та шеллингіанская философія искусства, та романтическая эстетика, которая на долгое время вилоть до сороковыхь годовь— стала господствующей среди русской интеллигенціи и вліяніе которой черезь посредство «архивныхь юношей» отразилось даже на Пушкинт; воть та часть философіи Шелливга, которая заслонила передъ руссками шеллингіанцами

¹⁾ Schelling. "System des transcendentalen Idealismus", V, § 3 m VI. §§ 1-2; cm. eme eio "Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie" m "Ueber das Verhältniss der bildenden Kunste zu der Natur".

всв другія ея части. Въ "Мисмозинь" ин пайдемъ много численныя варіаціи на отміченныя нами выше положенія романтической теоріи искусства, выраженной въ терминологіи Шеллинга. Кп. Одоевскій неоднократно подчеркиваеть, что "міръ Изещный-созданіе человъка-основань на тъхъ же единыхъ, непремънныхъ законахъ, по которымъ движется и міръ Вещественный-создание Всемогу щаго" ("Мнемозина", ч. І, стр. 64); въ любопытныхъ "Афоризмачъ изъ различныхъ писателей (?), по части современнаго германскаго любомудрія", пом'єщенных во второй части современнаго германскаго любомудрія», помъщенныхъ во втор й части "Мнемочины", тоть же Одоелскій пзлагаетъ даже основиня положенія шеллинговой теорін познанія, указывая на тозкдество субъекта и объекта въ абсолютномъ (по терминологія Одоевскаго — "идея сего совершеннаго единетва Отвлеченнаго съ Вещественнымъ есть Абсолето», см. ч. II, стр. 82, а также стр. 78-79); тутъ рядомъ Кюхельбекеръ описываеть свои заграничныя путешестыя, свои встръчи и бесъды су. Тикомъ и другими и мецкими романтиками. И на застденівить "Общества любомулровъ" разрабатывались тъ же филосефскія и литературныя темы, обнаруживалось то же знакожство "архивныхъ юношей съ "выспрениямъ умозръніемъ" Шеллинга. Такъ, напримъръ, прочитанный Веневитиновымъ на одномъ изъ застраній отрывокъ «Бестда Платона съ Анаксагоромъ" показываетъ близкее знакомство автора съ "Philosophie und Religion" Шеллинга 1); мы могли бы привести цълый рядъ подоб-

¹⁾ Основная мысль статьи Веневитинова вложена имъ въ уста Анаксагора: "птавъ,— гогорить снъ Платену,—если я понялъ твою мысль, то золотей и пъ дъйст стелино существомолъ и снова ожидаетъ смертныхъ" (Д. Веневитиновт, смер, сси, изд. 1862 г., стр. 156). Ср. Schellings Säundliche Werke, v. VI, р. 57—59 ("Philosophie und Religion") и "Untersuchungen über die menschliche Freiheit", ibid., v. VII, р. 375—350.

ныхь соноставленій, но и безь ныхь ясно близкое знакомство русскихь шеллингіанцевь этой эпохи съ первоисточникомь воспринятой ими философской системы.

Люди двадцатыхъ годовъ учились много и упорно: они учились и звали учиться другихъ. Кн. Одоевскій въ "Мнемозинъ" перечисляетъ мимоходомъ тъ журналы, которые знакомы ему и его друзьямь: это-Isis Окена, Kritische Journal der Philosophie Шеллинга и Гегеля, Zeitschrift für spekulative Physik Шеллинга (1800—1802 гг.), Die Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft ero же (1805 г. и сл.), Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche ero жe (1813 г.) и мн. др. ("Мнемозина", ч. III, стр. 184). Немногіе въ то время были знакомы даже съ самыми названіями этихъ журналовь; и Одоевскій пивль полное основание иронически вопросить журналистовъ, нападавшихъ на "Мнемозину" и называвшихъ ее "посредственнымъ изданіемъ" (см. "Сынъ Отечества", 1824 г., № 38): "назвавія мною выставленныя Нъмецкихъ Журналовъ не почитаете ли ва individua изъ натуральной исторів?.. ("Мнемозина", ч. ПІ, стр. 186). "Учиться бы, учиться", заканчиваетъ Одоевскій свой отвъть, и мы увидимъ, что этими же самыми словами вскоръ начнетъ свою дъятельность Бълинскій.

"Любомудры" были хорошо знакомы съ философіей Шеллинга — изъ всего предыдущаго это следуеть съ достаточной очевидностью; но не менее очевидно и то, что "тонь быль взять въ Мисмозилть слишкомъ высоко", по вполнъ върному замъчанію П. Милюкова. Не одни невъжественные сотрудники "Сына Отечества", но и масса читающей публики той эпохи могла, пожалуй, принять какую-нюбудь Isis или Zeitschrift за особую породу животныхъ... Широкіе круги русской интеллигенцій были въ это время увлечены идеей политической борьбы и въ этой областа обладали не меньшими знанілми, чёмъ "любомудры" въ нъмецкой философіи; декабристы были хоролю знакомы сь французскими энциклопедистами, со Синтомъ и Сэемъ, съ Бентамомъ, Б. Констаномъ, Детю-де-Тарси и съ успъхомъ пронагандпровали иден этихъ писателей устно и нечатно. "Любомудры" же потериъли въ своей пропагандъ жестокое фіаско, такъ какъ значительная часть интеллигенцій той эпохи была увлечена идеалами и идеями декабризма, а для остальной массы читающей публики "выспреннее умозрѣніе" любомудровъ было китайской грамотой. Понадобилось еще полтора деоятильтія для того, чтобы провести въ широкую публяку это "выспреннее умозрѣвіе" въ последовательныхъ формахъ шеллингіанства, фихтіанства и гегельянства; впрочемъ, даже въ концъ тридцатыхъ годовъ въ публикъ такъ отзывались о статьяхъ Бълинскаго и его друзей въ "Московскомъ Наблюдатель": "тамъ такая все гиль, ничего не разберень. Все о субъектахъ да объектахъ толкуютъ. Философія съ ума свела" (письмо Панаева къ Бълинскому отъ 11 окт. 1838 г.). Мы проследимъ сейчась за этимь последовательнымь развитіемь русской общественной мысли тридцатыхъ годовъ, но сперва закончимъ наше знакомство съ московскими любомудрами и съ ихъ дъятельностью въ литературѣ.

IV.

И прежде всего надо отвѣтить на вопросъ: не было ли все-таки въ проповѣди "любомудровъ" какихъ-либо сторонъ, вошедшихъ въ жизнь, во-шедшихъ въ литературу, а не оставшихся гласомъ вопіющаго въ пустынѣ? По нашему миѣнію такой

стороной является эстетическій индивидуализмъ "любомудровъ", повидимому отразавшійся на Пушкинъ, хотя нъкоторые современные "пушкинисты" и оспаривають этоть факть. Правда, по настроению своему Пушкинъ двадцагыхъ годовъ быль ближе къ декабризму, а къ нъмецкой философіи отно ился почти враждебно и, по свидътельству Погодина, "деклампроваль прогивь философін" и подшуливаль надъ любомудрами, до которыхъ-де стоить лишь прикоснуться нальцемь, чтобы сразу познаясь всемірная ученость... По это не могло помѣшать Пушкину получить въ кругу "любомудровъ" новый толчекъ въ сторону энтическаго индлидуализма, съ которымъ была такъ созвучна душа Пушкина. Въ другихъ случаяхъ ихъ вліяніе на Пушкина еще болье замьтно. Такъ, напримъръ, Анневковъ передаеть, что Веневитиновъ обратилъ внимаьје Пушкина на Гете (Пушкилъ плохо зналъ нъмецкій языкъ); въ своемь посланія "Къ Пушкину" Веневитиновъ, дъйствительно, призываетъ Пушкина "доплатить Каменамь долгь вдохновенія" и послъ Шенье и Бъйрона восивть Гете; очень въроятно предположение Аннепкова, что написанная вскоръ Пушкинымъ сцена между Мефист фелемъ и Фаустомъ была прямымъ отевтомъ на вызовъ Веневитинова. Наконецъ, до сихъ поръ останся, кажется, неотмъченнымъ любопытный фактъ вліянія на Пушкина "Мнемозины": тамь въ статьяхъ стараго товарища Пушкина, Кюхель јекера, впервые были высказаны оригинальные для того времени взгляды на Байрона и Шекспира, - взгляды, которые Пушкинь буквально повторить годомъ новже и которымъ не взитнялъ впосабдствін (см. "Мнемозина", ч. 111, стр. 172-173 н ср. съ письмомъ Пушкина къ Н. Н. Раевскому отъ сентября 1825 г.).

Другой стороной латературной дъятельности «лю-

бомудровъ», -- стороной такъ или иначе отразившейся на дальнъйшемъ теченін русской литературы была ихъ борьба съ сентиментальнымъ исевдо-романтизмомь, которому они, романтики въ душъ, не могли сочувствовать; если и быль въ это время подлинный романтизмъ въ русской литературъ, то ужъ конечно не въ произведеніяхъ Жуковскаго или Марлинскаго, а въ интересныхъ попыткахъ кн. В. Одоевскаго. Тъмъ интереснъе борьба его и его друзей съ сентиментальнымъ исевдо-романтизмомъ. Въ статъв «О направленін нашей поэзіп, особенно лирической, въ послъднее десятильтие» («Мнемозина», 1824 г., ч. П, стр. 37-8) В. Кюхельбекеръ говорить: «..что же наша романтика?.. Гдъ найдемъ ее въ большей части своихъ мутныхъ, ничего не опредъляющихъ, изнъженныхъ, безцвътныхъ произведеніяхъ? У насъ все мечта и призракъ, все мнится и кажется и чудится, все только будто бы, кака бы, шычто, что то... Чувствъ у насъ уже давно нътъ: чувство унынія поглотило всв прочія. Всв мы взапуски тоскуемъ о своей погибшей молодости, до безконечности жуемъ и пережевываемъ эту тоску... Картины вездъ однъ птвже: луна, которая-разумбется-уныла и блюдна; скалы и дубравы, гдв ихъ никогда не бывало; ...изръдка длинныя тъни и привидънія, что то невидимое, что-то невъдомое;... въ особенности же - тумана: туманы надъ водами, туманъ надъ боромъ, туманы надъ полями, туманъ въ головъ сочинителя...» Все это-остроумный и мъгкій выпадъ противъ Жуковскаго и его школы, противъ крайностей сентиментальнаго исевдо-романтизма. И кн. В. Одоевскій повторяетъ въ слъдующемъ томъ «Мнемозины» эти нападки на псевдо-романтизмъ, указывая, что среди русскаго общества нашлись люди, «кои осмълились покинуть упиние и сладострастие, разогнать густые туманы, забыть о луны и заниматься своимъ совертыхъ годовъ.

Начиная съ 1827-го года, «любомудры» попробовали приняться за изданіе журнала («Московскій Въстникъ»). Во главъ этого журнала стояли Веневитиновъ, братья Киръевскіе, Одоевскій, Пушкинъ, Погодинъ, и Шевыревъ, при чемъ фактически главная работа легла на двухъ послъднихъ; послъднее обстоятельство и было одной изъ причинъ быстраго паденія журнала, едва просуществовавшаго четыре года. Къ тому же въ началъ 1827 года умеръ двадцатидвухльтній Веневитиновъ, Киръевскіе уъхали за границу, Одоевскій отдался службъ—и бывшій кружокъ «любомудровъ» распался навсегда.

Роль «любомудровь» въ исторіи развитія общественной мысли была сыграна и они сошли со сцены, уступивъ свое мъсто покольнію тридцатыхъ годовъ. Но къ такому утвержденію необходимо прибавить значительную поправку. Дъйствительно, стоить только вспомнить тъ имена, сь которыми мы встрътились выше и въ «Обществъ любомудровъ» и въ «Московскомъ Въстникъ», чтобы сразу увидъть тъсную зависимость между умственными теченіями двадцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Братья Киртевскіе, Хомяковъ (сотрудничавшій въ «Московскомъ Вѣстникѣ»), Кошелевъ, -- въць это все такъ называемые «старшіе славянофилы»; кн. Одоевскій въ сороковыхъ годахъ быль во многихь отношеніяхь близокь къ славянофильству, а Кюхельбекерь, въ то время уже сосланный декабристь, не даромь получиль впоследствін за свою литературную деятельность драдцатыхъ годовъ наименованіе «перваго славянофила». Но не только имена связывають «любомудровь» двадцатыхъ годовъ со славянофилами; ихъ связываетъ еще и общность міровоззрѣнія: старшіе славянофилы остались върны основнымъ началамъ философіи Шелланга, и на этой почвъ одно время расходились даже со славянофилами младшаго покольнія, временно увлениимися гегельянствомъ (эпизодъ съ диссертаціей К. Аксакова въ самомъ началъ сороковыхъ годовъ). Младшіе славянофилы вскоръ отреклись отъ Гегеля и котя никогда не сдълались правовърными учениками Шеллинга, но все же несомивнно, что славянофильство въ общемъ стояло на почет шеллингіанства. Когда въ 1841 – 2 гг. Шеллингъ началъ читать въ Берлинъ лекція, долженствовавшія служить противондіемь противь гегельянства, то московскіе славянефилы радавались этому началу войны съ раціона пистическимь міровоззръніемъ. Впослъдствім нъсоторыя изь действующихь лиць склонны были даже объяснять вражду между западничествомъ и славянофильствомь гогельянствомь перваго и шеллингіанствомъ второго, кореннымъ различіемъ въ міровозэртніяхъ шеллингіанцевъ двадцатыхъ годовъ п гегельянцевъ традцатыхъ 1). Въ этомъ заключена нъкогорая доля потины, а потому и значение шеллингіанцевь двадцатыхь годовь вь исторін русскихь умственных в теленій не должно быть преуменьшаемо псториками русской общественности. Рядомъ съ декабристами, составлявшими большинство русской интеллигенцін той эпохи, небольшая группа русскихъ шеллингіанцевь является тёмъ мостомъ, который соединяеть деб эпохи русской жизни, разъединенныя 1825-мъ годомъ, той нитью, которая мечьшинство русской интеллигенціи связызаетъ двадиатыхъ годовъ съ большинствомъ русской интеллигенцій последующаго десятильнія.

¹⁾ См. Посьмо Шевырева къ П. Аксакову (1862 г.); Колюиановъ, «Біографія А. И. Кошелена», т. 1, ки. П, стр. 131.

V.

Люди тридцатыхъ годовъ вступали въ жизнь съ совершенно иными впечатленіями, чемь предшествовавшее имъ покольніе. Одоевскій, Веневитиновь, Хомяковь, Изань Кирвевскій вь возраств десяти-пятнаццати лътъ были свидътелями того духовнаго подъема, который быль въ Россіи по окончачін наполеоновских войнь; Станкевичь, Бълинскій, Герценъ, Огаревь въ возрасть пятнадцати льть были свидьтелями того духовнаго разгрома, который последоваль после неудачи декабрыскаго возстанія. Правда, Герценъ и Огаревъ нваче реагировали на эти впечатлавія, чамъ Станкевичь пли Бѣлинскій, но это служить только лишнимь доказательствомъ того положенія, что нельзя выводить міровозарвнія эпохи исключительно изъ условій соціальной жизни п среды. Кружовъ Герцена и Огарева явился прямымъ идейнымъ преемникомъ декабризма какъ въ отношении полатическихъ идеаловь, такь и въ отношени зависимости отъ французскихъ соціальныхъ теченій, въ то время какъ кружокъ Станкевича продолжалъ изучение нъмецкой философ:кой мыли и вь этомъ отношени былъ преемственно связанъ съ московскими «любомудрами» двадцатыхъ годовъ. Эти два кружка ръзко расходились между собою: членань кружка Станкевича, по воспоменаніямъ Герцена, «не нравилось наше почти исключительно полатическое направление, намъ не нравилось ихъ почти исключительно умозрительное; они счатали насъ фрондерами и французами, мы ихъ-сантименталистами и нъмцами»... Повторилось mutatis mutandis взапмоотнощение между полатиками и философами двадцатыхъ годовъ, съ той разницей, что теперь «сантименталисты и измиы»

заняли господствующое положеніе: у нихь было громадное преимущество— возможность выступить съ открытой проповідью своихь воззрівній. Соціальныя условія не породили это философское теченіе трядцатыхь годовь, но только создали благопріятную почву для его открытаго развитія. Кружокь Герцена могь развиваться толькі въ подпільт и вскорів быль разсілнь по лицу земли русской; исторія умственныхь теченій тридцатыхь годовь—это исторія

кружка Станкевича.

Станк-вичь, Бакунинь, Бълинскій, Боткинь, К. Аксаковъ, нъсколько позднъе Грановскій и Катковъ, dii minores въ родъ Клюшанкова и Красовавоть главные члены кружка, сыгравшого такую видную рель въ исторія развитія общественной мысли тридцатыхъ годовъ. Съ теченіемъ времени пъкоторые (напримъръ, К. Аксаковъ) отдълились отъ этого кружка, другіе, наоборогь, присоединились къ нему (напр., Ботканъ), но это не мъщало кружку въ продолжение цълаго десятилътия быть единымъ цынымь по духу и направлению. Кстати будеть замътить, что ппаогда этотъ такъ называемый «кружовъ Станкевича» не быль такимъ сформировавшимся кружкомъ, какимъ было въ свое время «Общество любомудровъ»; кружокъ Станкевичаэто только группа друзей и близкихъ знакомыхъ, соединенная не уставомъ и проговолами засъданій, а исключительно общностью эст-тическихь, этическихъ и идейныхъ интересовъ. Связующимъ центромъ служило то обалніе личности Станкевича, когорое создало ему положеніз главы кружка, несмотря на то, что его познанія не превышали средняго уровня познаній остальныхь членовъ группы; вь этомь отношенія Станкевичь - полная противоположнесть следующему после Станкевича главь пружка, Бакунину, который невольно подчиналь

себъ силой своей отвлеченной мысли, но вовсе не обаяніемъ своей личности. Эти два человъка стояли во главъ русской общественной мысли тридцатыхъ годовъ: первая половина этой эпохи (до 1835—6 гг.) отмъчена вліяніемъ Станкевача, вторая половина—вліяніемъ Бакунина.

«Огромная субстанція» - такъ однажды охарактеризоваль Станкевича Бълинскій; и какъ ни курьезно подобное выражение, но оно достаточно ясно показываеть, какого мивнія о Станкевичь были его друзья. Какъ и въ чемъ проявила бы себя эта огромная субстанція, мы этого не знаемъ: Станкевичь, подобно Веневитинову, умерь молодымь, на порогъ вступленія въ дъйствительную жизнь; послъ него осталось только десятка четыре стихотвореній (очень слабыхъ), дътская трагедія («Василій Шуйскій»), два-три прозанческихъ отрывка.. Литературная ценность всего этого крайне невелика, значеніе же для характеристики самого Станкевичагромадно; еще большее значение для понимания теченій тридцатыхъ годовъ имбеть переписка Станкевича, изданная вскоръ послъ его смерти. Изъ ряда писемъ Станкевича мы видимъ, какъ малопо-малу развивалось въ его кружкъ изучение философскихъ вопросовъ и въ какой преемственной связи находилась общественная мысль тридцатыхъ и двадцатыхъ годовъ.

Связь эта была самая непосредственная уже по одному тому, что ближайшемъ учителемъ Станкевича быль тотъ же профессоръ Павловъ, который десятью годами ранте быль наставникомъ Веневитинова; Станкевичъ жилъ у Павлова съ 1830 до 1833 года, слушая одновременно его лекціи по физикт, т.-е., иначе говоря, проходя курсъ шеллингіанства. Въ письмахъ 1833 года у Станкевича попадаются выраженія, указывающія на знакомство съ «любо-

мудрами» (Веневитиновымъ, Кпръевскимъ, Одоевскимъ), а иногда и на согласіе съ вхъ взглядами; такъ, напримъръ, по вопросу о поэтическомъ творчествъ Станкевичъ заявляетъ: «я согласенъ съ Одоевскимъ» (письмо къ Невърову отъ 24-го іюля 1833 г.). А согласіе съ Одоевскимъ въ данномъ случав было согласіемь съ романтической теоріей нскусства, съ шеллингіанской эстетикой; точкой соприкосновенія «любомудровъ» двадцатыхъ годовъ н кружка Станкевича было именно искусство и шеллингіанская точка зрвнія на него. Эстетика была тымъ красугольнымъ камнемъ, съ котораго, подъ знасомъ шеллингіанства, началась постройка міровозарѣнія людей тридцатыхъ годовъ; они пришли затьмь къ фихтіанской этикъ и гегельянской логикъ-и такимъ образомъ, «красота», «правда» и «истина» завершили собой полный кругь развитія общественной мысли тридцатыхъ годовъ. Въ первой стадін этого развитія отразилось сильное вліяніе Станкевича, шеллингіанская эстетика котораго раздъявлясь и Бълинскимъ въ его первыхъ статьяхъ.

«Искусство дълается для меня божествомъ, и я твержу одно: дружба (пли любовь—послъдняя родъ, первая лучшій изъ видовъ и священнъйшій) и искусство. Воть міръ, въ которомъ человъкъ долженъ жить, если не хочеть стать на ряду съ животными! воть благородная сфера, въ которой онъ долженъ поселить я, чтобы быть достойнымъ себя!..»— такъ говорить Станкевичъ въ одномъ изъ своихъ писемъ (отъ 18-го мая 1833 г.). О любви и ея значеніи у людей тридцатыхъ годовъ мы говорить не будемъ, такъ какъ вопросъ этоть съ достаточной подробностью разработанъ П. Милюковымъ въ его очеркахъ «Любовь у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ» и такъ какъ, во-вторыхъ, насъ здъсь внтересуетъ, главнымъ образомъ, исторія умственныхъ теченій этой эпохи;

но нельзя не замётить, что вышеприведенная постаповка вопроса— главенство чувстка и искусства—
вполить характеризуеть собою тридцатые годы и
особенно первую вхъ половину. Въ другомъ своемъ
письмъ (отъ 19-го йоня 1833 года) Станкевичъ
предлагаетъ своему другу «ограничиться (въ ихъ
перепискъ) чувствомъ и искусствомъ: мы живемъ
въ этихъ двухъ мірахъ, до другихъ мітовъ намъ съ
тобою дёла пётъ»... Въ этихъ словахъ— цёлая программа русскаго шеллингіанства тридцатыхъ годовъ,
отразившаяся и въ литературъ черезъ посредство
статей Бёлинскаго перваго періода его дёятельности.

VI.

Итакъ, тридцатые годы начали съ шеллингіанства. Въ томъ самомъ году, когда тихой смертно умиралъ «Московскій Вѣстникъ» — послѣднее литературное дътище «любомудровъ» — въ Москвъ псявился Станкевичъ (1830 г.), годомъ раньше - Бълинскій, годомъ позже въ университеть поступиль К. Аксаковъ; въ 1831 году всъ они уже были знакомы другь съ другомъ, и въ тесномъ студенческомъ кружкъ снова началась разработка міровыхъ вопросовъ, началось «передумывание и перечувствованіе умственной жизни Европы», по знакомымъ намъ уже словамъ Бълинскаго. Мы видъли толькочто, что въ началъ это было скоръе перечувствованіе, чти передумываніе; романтическая эслетика Шеллинга была не столько воспринята, сколько просто принята русскими шеллингіанцами тридцатыхъ годовъ. Однако, уже въ началъ 1833 года Станкевичь пинеть своему другу (Невърову) рядь инсемъ философскаго хајактера, озаглавливая ихъ «Моя метафизика» (два письма написано, третье начато), въ

которыхъ варьирують основоноложенія не только шеллингіанской эстетнян, но и системы трансцендентального идеализма въ ея целомъ. Природа есть постоянное саморождение, «жизнь природы есть непрерывное творчество», а индивидуумъ есть концентрація общей жизни природы — съ такого повторенія знакомыхъ намъ положеній Шеллинга начинаеть Станкевичъ эти свои философскія письма. Эта природа и эта жизнь въ цъломъ есть Разумъніе: «все (das All) есть жизнь, а жизнь дъйствуеть разумно, слъдовательно сопряжена съ Разумъніемъ». По законамъ этого Разумбнія развивается вся жизнь, при чемъ «роды суще таъ составляютъ лестницу, по которой жизнь, разумьющая себя въцьломь, пдеть къ самоуразумьнію въ недылимых». Послыдней ступенью такой лестипы является человекь, въ которомъ «жизнь, разумъющая себя въ цъломъ, уразумъла себя отдъльно»... «Онъ есть центръ этой жизни въ миніатюрь». Какъ видимъ, все это является только п-рефразировкой приведенныхъ нами выше основныхъ положеній философіи Шеллинга; но любонытно видёть, къ чему приходить въ концё концовъ Станкевичъ: онъ приходить снова къ провозглашенію примата чувства. Заявивь, что жизнь есть разуманіе (полнаваніе), дайствованіе и чувствованіе, Станкевичъ продоли:аетъ: «если жизнь есть разумъ, если жизнь есть воля, то она есть чувство по преимуществу. Вся она держится чувствомъ- въ неделимыхъ, начавшихъ сознавать себя отдельно, чувство это обнаруживается любовью... Любовь!.. для меня съ этимъ словомъ разгадана тайна жизни. Жизнь есть любовь»... (Станкевичь, «Собр. соч.», стр. 148—155; ср. «Переписка», стр. 17—24). О значеній любви для идеалистовъ тридцатыхъ годовъ ин уже упоминали выше; здёсь важейе подчеркнуть еще разъ тоть примать чукства, который такъ зарактеренъ для всего поколънія Станкевича и ого друзей.

Наиболье яркимъ выразителемъ вськъ этихъ идей кружка явился, какъ извъстно, Бълпискій, о которомъ подробная ръчь впереди. Соединая въ себъ топкую философскую организацію, (по выраженію о немъ кн. В. Одоевскаго) съ пылкимъ, неистовымъ «чувстоми», съ проницательнымъ критическимъ взглдомъ и съ большой эрудиціей въ области исторіи русской литературы, онъ былъ созданъ для того, чтобы сдълаться величайшимъ русскимъ критикомъ. Примать чувства, провозгланавш:йся Стаякевичемъ, быль съ тъмъ большей силой выставленъ Бълинскимъ, что последній отъ природы быль, по собственному выраженію, «дико страстной натурой», за что и заслужиль отъ своихъ друзей напменование неистоваго, «Bessarione furioso». По выраженію Герцена, Бълинскій быль «человъкомъ экстремы», никогда не сстанавливавшимся посрединъ пути ръшени проклатыхъ вопросовъ; онъ всегда шелъ напроломъ до крайняго вывода «и не бледнель ни передъ какимъ последствіемъ» («Былое и Думы», гл. XXV). Не даромъ одинъ изъ членовъ кружка Станкевича, Клюшниковъ, охарактеризовалъ Бълнескаго шуточнымъ четверостишіемъ:

> Аполлонъ мой, Аполлонъ, Аполлонъ мой Бельведерскій! Виссарьовъ мой Виссарьонъ, Виссарьонъ мой вельми дерзкій!

Этому «вельми-дерзкому» и «дико-страстному Bessarione furioso» выпало на долю быть яркимъ выразителемъ умственныхъ теченій тридцитыхъ (и сороковыхъ) годовъ; въ первую половину тондцатыхъ годовъ онъ шелъ рука объ руку со Станкевичемъ, былъ апологетомъ «чувства» и утверищалъ, что чувство и искусство—міръ, въ которомъ долженъ житъ

человъкъ. Въ своихъ «Литературныхъ мечтаніяхъ» (1834 г.) Бълинскій псходиль изь той самой романтической теоріи некусства, которая была принята еще «любомудрами» двадцатыхь годовь и которая перешла по васлъдству и въ кружокъ Станкевича. Если мы вспоинимь приведенныя выше основоноложенія шеллингіанской эстетики, то сразу увидимъ родство съ ними утвержденій Балинскаго, что міръ есть проявленіе вь безчисленныхь формахъ единой абсолютной идеи, что «поэтическое одушевление есть отблескъ творящей силы природы» (Шеллингъ говориль о поэтыческомъ творчествъ, какъ о завершетворящей силы природы). что воспроизведеніе этой творящей силы—единая ціль искусства. Шеллингіанская эстетика всецёло принималась, какъ видимъ, Бълинскимъ; повидимому къ этому времени онъ восприняль и ту шеллингіанскую «метафизму», которую Станкевичь излагаль въ своихъ письмахь за полтора года до этого (по крайней мъръ такъ заставляеть думать слёдующее мёсто изъ нисьма Станкевича къ Бълинскому отъ 30-го октября 1834 г.: «..не знаю, радоваться ли твоему обращению. Новая система, въроятно, удовлетворить тебя не болбе старой...»). Несомнънно, однако, что, воспринявъ такимъ образомъ шеллингіанство изъ кружка Станкевича, Бълинскій хорошо видьять, насколько не хватаеть всему этому русскомъ шеллингіанству твердой опоры -упорнаго и настойчиваго изученія тъхъ философскахъ системъ, которыя слишкомъ поверхностно принимались людьми тридцатыхъ годовь: «Мы обо всемъ пересудили, обо всемъ переспорили, все усвоили себъ, ничего не взрастивши, не взлълъявши, не создавши сами», слышали мы уже оть Былискаго. И нъть никакого сомнанія, что призыва ка «ученью», заканчивающій собою «Литературныя мечтанія», быль направленъ Бълнискимъ не только ко всей массъ

русскаго общества, но и къ тому кружку, членомъ котораго онъ состояль. «...Новое покольніе, — иншеть Бълинскій, — вмысто того чтобы выдавать въ свыть недозрыля творенія, съ жадностью предается изученію наукъ и черпаеть живую воду просвыщенія вы самомъ источникъ»... «Теперь намъ нужно ученье! ученье! ученье!..» И тридцатые годы стали, дыйствительно, эпохой упорнаго, настойчиваго и кропотливаго изученія тыхъ источниковь, въ которыхъ въ то время можно было искать живую воду просвыщенія.

VII.

Начало положиль Станкевичъ, принявнійся за упорное изучение первоисточниковъ нъмецкой философін, «Не знаю, достанеть ли у меня терптнія и сизъ, -- писалъ онъ, -- а я займусь ею (философіею). Скучны формы, въ которыя она заключена, но мы потернимъ за будущее нокольние и, быть можетъ, съ Божьей номощью облегчимь трудъ его» (оть 10-го ноября 1835 г.). Эти слова явились програмией действій Станкевича; немедленно по окончавін университета онъ снова принимается за Шеллинга, желая изученіемъ философіи очистить путь дил научнаго пониманія исторін, которая привлегательна для Станкевича, какъ «огромная задача философская». Но исторія вскорь отошла для него на эторой плань, и Станкевичь решительно углубляется въ философію Мы вкратцъ отмътниъ главнъйшіе этопы его развитія, такъ какъ они характерны не только для одного его, но и для исторіи общественной мысли тридцатыхъ годовъ. Станкевичъ началъ, какъ мы сказали, съ детальнаго изученія философіи Шеллинга; недовольный своими поверхностивии познаніями, Станкевичь, по окончанія университета, бе-

рется за «Систему трансцендентальнаго идеализма» и изучаеть се вплотную. Прочтя эту книгу въ сентябръ 1834 года, онъ иншетъ: «Я поняль цълое ел строеніе, тъмъ болье, что оно было мнь напередь довольно извёстно; но илохо понемаю цементо, которымъ связаны различныя части этого зданія, и теперь разбираю его понечногу»... Черезъ мъсяцъ онъ сообщаеть, что читаеть «Систему» Шелиннга во второй разъ: «Теперь я гораздо болье понимаю Шеллинга, нежели въ первый разъ, -прибавляетъ Станкевичь, -- хотя и потъю иногда»... Еще черезъ мъсяць онь пишеть, что Шеллинга «кончиль и отножиль надолго, очень надолго...»; однако, не прошло и полугода, какъ онъ сообщаеть: «Съ Клюшинковымъ мы читаемъ одинъ разъ въ недълю Шеллинга... Надобно еще изучить получше Шеллинга»... (письма къ Невърову отъ 19-го сентября, 16-го октября, 20-го ноября 1834 г. и 28-го марта 1835 г.). Это кропотливое изучение философіи Шеллинга привело Станкевича въ сознанію необходимости предварительнаго изученія Канта, который, какъ мы знаемъ, быль распространень среди русской интеллигенція десятыхъ годовъ, не быль вытёснень Шеллингомъ въ следующемъ десятилети.

«Теперь мы съ Клюшниковымъ принялись за Канта, пишеть Станкевичь въ ноябрт 1835 г.; — мы съ нимъ читали Шеллинга, и если не поняли вполнт его хода, его діалектики, то постигнули основныя идеи, сущность системы. Чтобы возвести свое горячее убъждебіе на степень знанія, надобно корошенько изучить основаніе, на которомъ утверждается новая нъмецкая философія. Это основаніе — система Канта». И Станкевичь съ дружьями усердно принялся за изученіе Канта; къ этому времени огносится, отметямъ кстати, дружба Станкевича съ Вакунинымъ, котораго Станкевичь «засадилъ за фи-

дософію» и который «по Канту... выучился по-ньмецки» («Былое и Думы», гл. XXV). «Пришли мив, другъ, дза экземизира «Призыки чистасо разума» Канта, - ппитеть Стачкевичь въ началь ноября 1835 года, -одинь мей, другой Киомникову. Пожалуйста, поспорве! Свою и отослаль въ Минелю (Бакунину)». Месяцень нозже онъ просить своего друга причлать ему двухтомичю монографію Вашлера «Philosophie der Kanto и желуечся, что у него «автъ человъка, который бы могь объяснить мить темное въ Кантъ» (изъ того же письма можно вилъть, что такимь «темнымь» містомь нь «Контикв чи таго разуман быль для Станкевича отдёль дедукцін категорій). Но система Канта была или слишкомъ трудна, или слишкомъ суха для идеалистовъ тридцатыхъ годовъ; занявшись съ полгода «Критикой чистаго разума», Станкевичь откровенчо признается: «Хочется ее поскоръй окончить, чтобы заниматься чъмъ нибудь болье отраднымъ. Эту ступень надо перейги».. (письма къ Невърову отъ 4-го, 10-го ноября, 2-го декабря 1835 г. и 16-го марта 1836 г.). Такимъ образомъ, въ псторіи русскаго идейнаго развитія тридцагыхь подовь Канть сыграль только роль промежуточнаго звена между Шеллангомъ и Фихте; отъ Кавта спъшили скорбе отделаться, чтобы перейти къ системамъ, болъе отвъчающимъ характеру и настроению идеалистовъ тридцатыхъ годовъ. Только-что обончавъ «Критнау чистаго разума» Канта, Станкевичь и Бакунинь принимаются за изучение философіи Фихте: льто 1836 г. Бакунинъ проводить вибств съ Бълинскимъ, «втаскивая» последняго въ «фихтіанскую отвлеченность», по выражечію самого Bessarione furios); это же лъто Станкевичъ проводить на Канцазъ и дорогою туда анакомится съ «Vorlesungen über die Bestimmung des Menschen» Флите. Субъентавный идеализмъ Флите перевернуль вверхь дномъ всё философскія возгрёнія друзей; чте ніе Фихте «произвело мий такой сумбурь въ головё, — признается Стангевичь, — везможность котораго я и не поюзрёваль». И эта возможность снова заставляеть Станкевича повторячь призывъ Вёлинскаго въ «ученью»: «Теперь уже нельзя остановиться, теперь — впереда! Ифий Знанія! Возможно отчетливаго знанія!» (польмо въ Певерову отъ 21-го апрёля 1836 г.). «Мата Филте я уже провижу возможность другой системи», — саканчиваеть Станкевичь; и въ этомъ случай онъ предугадаль ходъ русскаго умственнаго развитія тей энохи, для котораго Фихте, подобно Канту, ок за ся промежуточной ступенью между Шеллянгомъ в Геле. емъ.

Періодъ фихтіанства быль крайне непродолжительнымъ въ исторіи русской общественной мысли тридцатыхъ годовъ, незначител но быто и отражение фихтіанства въ статьяхъ Бъинискаго. Въ философія Шеллинга люди тридиатыхъ годовъ нашли отвътъ на свои этические запросы. въ философіи Фикте они хотели найти решение этическихъ проблемъ. Конечно, теорія познанія Филте прошанела н'єкоторый «сумбуръ въ головахъ» такимъ мозей, какъ Станкевичъ и Бълинскій; признаніе Сталкавича мы слышали, извъстно подобное же признание Бълинскаго (въ письмѣ къ Бакунину отъ 21-го ноября 1837 г.); но главное ванманіе друзей было обращено не ва фехтіанскую теорію повиснія, а на фихтіанскую этику. И въ этомъ кратковременномъ неріодъ фиктіанства люди тридилых годовь перед мызали, главнымъ образомъ, этическіе вопросы: о «жизни ил дукъ». о такъ называемомъ тостаянія облагодата». О «нравственней точкъ зрънія», о «вившяей жизни» и «жизни абсолютной» и т. и. (Почти вся эта термипологія—изобрътеніе Банунина: сна характеризусть собою русское фихтіанство). Стангевичь стоямь въ

сторопъ отъ этого фихтіанства: онъ уже собирался въ это время жхать въ Берлинъ для изученія философін Гегеля; Бакунинъ и Бѣлинскій были глагными выразителями этого теченія середивы тридцатыхъ годовъ. Этотъ періодъ фихтіанства дъльть тридцатые годы на дей части: первая половина тридцатыхъ годовъ опнаменована шеллингіанствомъ и дуговной гегемоніей Станкевича; вторая половина характаризуется гегельянством в и прейным главенством. Бакупина. Посрединъ стоитъ королкій періодъ фихтіачства, продолжавшійся около года—съ середины 1836 до осени 1837 года-и явиншівся во всту отношеніяхь періодомь переходнымь. Былинскій влосл'єдствін весьма отрицательно отностися къ этому періоду своего развитія, къ этимъ понекамъ путей для решенія вечнаго вопроса «вапъ жить свато?» (впослъдствін основного вопроса «кающихся дворянъ»): «Боже мой, какая это была жизнь!-вспоминаль Бълинскій нъсколько льть спустя (въ письмъ къ Станкевичу отъ 19-го апреля 1839 г.):-- нравственная точка зрънія погубила было для меня весь цвътъ жизни, всю ея поэзію и прелести!» Вся жизнь Бълинскаго въ этотъ періодъ филліанства уходила на детальный самозвализь, на мучительное «рефлектированіе», на стремленіе достигнуть состоянія «благодати» и зажить «внутреняей жизвыю»; въ этемъ и состояна та «физтіанская отглеченность», которая, подъ угломъ врънія Бакунина. принела Бълинскаго къ убъжденію, что «идеальная-то жизнь (т.-е «внутрениля жизнь», жизнь гъ дукт) есть вменно жизнь дъйствительная, положительная, конкретная, а такъ называемая дъйствительная жизнь есть стрицаніе. привракт, инчтожество, пустата». Субъ-ктивнонгаественная точка зрвнія, страшная пдея долга, абстрактный героизмъ, препраснодушная война съ дъйствительностью - такъ вноситильни самъ Бълин

скій характеризоваль главыме пункты фиктіанскаго символа вёры 1836—7 годовь. Онь усийль ихь затронуть мамоходомь въ статьё про книгу «Опыть системы нравственной философія»— чуть ли не единственной статій, отразившей взгляды русскаго фихтіанства, которое, какъ видно изъ всего изложеннаго, гораздо дальше отстояло отъ Фихте, чёмъ русское шелингіанство отъ Шеллинга: то, что Бівнинскій называль «фихтізнскимь взглядомь», имёло въ сущности очень мато точека соприлосновенія съ философіей Фихте. Но этоть «фихтільскій взглядь» и удержалея недолго: мы уже сказали, что онъ быль только промежуточной ступенью между шеллингіанствомъ первой коловины и гегельянствомъ второй ноловины тридцатыхъ годовъ.

VIII.

Первымь за Гегеля взялся Станкевичь. «Гегеля л еще не знаю», -- лишеть Станкевичь посыт изучевін Шеллинга и Канта; а черезь нісколько місяцевь онъ сообщаеть: «Жду Гегеля изъ Риги» (письма къ Невърову отъ 10-го ноября 1835 г. и 16-го марта 1836 г.). Въ это же время Станкевичъ переводитъ большую статью Вильма «Опыть о философіи Гегеля», напечатанную въ «Телескопъ» 1835 г., а въ концъ 1837 года вдеть въ Берлинъ и упорно изучаетъ тамъ «Логику» Гегеля; еще до свеего прівзда въ Берлинъ онъ шутливо пишетъ своему другу: «Поцвиуй ручку у Грановскаго и погладь его по головъ за то, что онь занимается дъломъ и начинаетъ признавать достопиство Егора Өедөрөвича Гегелева» (инсьмо къ Невърову отъ 24-го сентября 1837 г.; Невъровъ и Грановскій были въ это время въ Берлинъ). Черезъ Станкевича познакомился съ Гегеленъ п Вавунлиъ, впервые «просмотръвшій» лътомъ 1837 года «Философію права» Гегеля. Съ этого времени идейная гегемонія переходить къ Бакунину; Станкевичъ уже не вернулся изъ-за границы.

«Прітзжаю въ Москву съ Кавказа (осенью 1837 года), - разсказываль впоследстви Белинскій, - прі**т**зжаеть Бакунинь, ин жевемъ вмѣстѣ. Лѣтомъ просмотрълъ онъ философію религіи и права Гегеля. Новый міръ намъ открылся» (письмо къ Станкевичу, сентябрь — октябрь 1839 г.). Въ это же кремя Катковъ познакомился съ «Эстетикой» Гегеля и подълился новыми свъдъніями съ Бълинскимъ. «Боже мой!-восклицаеть последній.- какой новый, светлый, безконечный мірь!» Преодольвь философію права и эстетику Гегеля, друзья Бълинскаго добрались и до его «Логики», въ которой увидъли окончательный путь къ истинъ; если Шеллингъ даль имъ твердую опору для эстетики, а Фихте быль исходнымь пунктомъ ихъ этики, то Гегель сталь ихъ руководителемъ въ области «логики», въ области отысканія истинныхь теоретико-познавательныхь нормъ. Какъ упорно и настейчиво русскіе гегельянцы добивались полнаго уразумьнія всей системы Гегеля, это видно хотя бы изъ того извъстнаго мъста «Былого и Думъ», которое посвящено характериствкъ русскихъ гегельянцевъ конца тридцатыхъ годовъ. Герцень вспоминаеть, что члены кружка Станкевича безпрестапно толковали о феноменологіи и догикъ Гегеля, что «нъть параграфа во всъхъ трехъ частяхъ логики, въ двухъ эстетики, энциклопедіи и пр., который бы не быль взять огчаянными спорами нъсколькихъ ночей», что «вст ничгожнтымия брешюры, выходившія въ Берлинъ и другихъ губерискихъ и увздныхъ городахъ въмецкой философія, гдв только упсивналось о Гегель, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нѣсколько дней» (гл. XXV).

Мы не имбемъ возможности остановиться здёсь на сравнении философіи Гегеля съ ен отраженіемъ въ головахъ русскихъ гегельянцевъ; но во всякомъ случать несометьню, что отражение это было крайне своеобразнымъ. Саморазвивающаяся плея, ступени ея развитія (тезисъ, антитезисъ, синтезисъ), проявленіе ея въ конкретной действительности-все эти и имъ подобныя формы были усвоены русскимъ гегельянствомъ, но очень часто въ этп формы вывладывалось совершенно своеобразное содержание. Достаточно указать на то, что центральнымъ пунктомъ русскаго гегельянства стало знаменитое, съ легкой руки Бакунина и Бълинскаго, положение: «что дъйствительно, то разумно и что разумно, то дъйствительно,» - положение второстепенное по своему значенію въ философской системъ Гегеля. Къ тому же и это положение было понято Бакунинымъ и Бълинсенть въ двухъ совершенно различныхъ смыслахъ: для Бакунина «разумная дъйствительность» была адекватнымъ выраженіемъ въ терминахъ гегельянства «внутранией жизни» (по прежней фихтіанской термипологіи), въ то время какъ Бѣлинскій подъ «разумной дъйствительностью» сталъ понимать дъйствительность реальную. Это понимание Бълинскаго въ высшей степени важно, какъ показатель начала конца эпохи русскаго философскаго романтизма; нереходомъ отъ идеанизма къ реализму закончилась эноха тридцатыхъ годовъ.

Органомь русскаго гегельянства быль журналь Бѣлинскаго и Бакупина «Московскій Наблюдатель», издававшійся ими около года (1838—1839 г.). Въ журналѣ этомъ Бакунинъ помѣстиль переводъ «Гимназическихъ рѣчей» Гегеля, со своимъ крайне интереснымъ для исторіи русскаго гегельянства предисловіемъ, ва которомъ рѣзко осуждается Филте за «разрушеніе всякой объективности, всякой дъйстительности», за «погружение отвлеченнаго пустого Я въ самодюбивое, эгопетическое самосозерцаніе». Это выставление на первый планъ объективности и дъйствительности вскоръ довень по последнихъ логическихь предъловь «вельми дерзкій Виссаріонъ» въ рядъ статей, помъщенныхъ уже въ «Отечественныхъ Запискахъ» (1839-1840 гг.). Мы не будемъ подробно останавливаться на и торім преклогенія Бълинскаго передъ разумней дейстительностью, такъ какъ здёсь им отмечаемъ только въ общить чертахь основныя теченія общественной мысли тридцатыхъ годовъ и такъ какъ о Белинскимъ подробная ръчь впереди; отмътимъ здъсь только, что свое преклоненіе и передъ «объективно тью» и передъ всякой дъйствительностью Бълинскій, какъ «человъвъ экстрены». довелъ до послъдняго предъла. Отсюда его яростныя нападки на Шиллера, какъ на «субъективнаго» поэта, отсюда его благоговение передъ «разумностью» самыхъ темныхъ сторонъ русской общественной жизни. Что касается борьбы Бълинскаго съ «субъективностью», то онъ только довель до логического к (ица отмъченныя выше пападки Бакунниа на Фихте за его праврушение всикой объективности». «Бакунинъ продозгласилъ, - разсказываль нъсколько позднее Бълинскій, — что истина только въ объективности и что въ поэзіи субъективность есть отрицание поэзін, что безконечного должно искать въ каждой точкъ, что въ искуссть сво открывается черезъ форму. а не черезъ содержание, потому, что само содержание высказывается черезъ форму, а гдт наобороть, тамъ илть искусства. Я освиръпъль, опрявъль отъ этихъ идей, и неистовыя проклятія иссыпались на благороднаго адвоката человъчества у людей- Шиллера. Учитель мой возмутился духомъ, увидъвъ слишкомъ скорые п слишкомъ обильные и сочные плоды своего ученія, хотълъ меня остановить, но поздно: я уже сорвался съ цъпи и побъжаль благимъ матомъ»... То же самое повторилось и въ вопрост о «дтиствительности». Бѣлинскій пошель дальше кого бы то ни было изъ своихъ друзей въ признанін разумности всего окружающаго «и не блёднёль ни передъ какимъ послъдствіеми», говоря словами Герцена. Признаніе «разумности» всего опружающаго было для Бълинскаго давно желаннымъ выходомь изъ «фихтіанской от элеченности»; мы уже указывали, что Бълинскій, тоже возреки Бакунину, нашель этоть выходъ въ отождествленія «дъйствительности» съ окружающей его реальностью. Бакунинь и въ этомъ случав котълъ остановить Бълинскаго, но поздно: Бълинскій «сорвался съ цёни и побъжаль благимъ матомъ» въ своихъ знаменитыхъ статьяхъ о Менцелъ и «Бородинской годовщинъ»; въ концъ концовъ даже Бакунинъ склонился къ точкъ зржнія Бълинскаго, какъ это видно изъ воспоминаній Герцена. Умирающій Станкевичь удивлялся такимъ понятіямъ своего кружка, находя ихъ «неутъщительными». «Что имъ (Бълинскому и его друзьямъ) дался Шиллеръ? что за ненавасть?-писаль въ началъ 1840 года Станкевичь Грановскому: - такъ какъ они не понимають, что такее «дъйствительность», то я думаю, что они уважають слово, сказанное Гегелемъ. А если авторитеть его силень у нихъ, то пусть прочтутъ, что онъ говорить о Шиллеръ... А о дъйствительности пусть прочтуть въ «Логнив», что действительность въ смыслъ непосредственности внъшняго бытія есть случайчо ть; что действительность, вь ея истинь, есть Разума. Духъп... Это было совершенно върно, но слова Станкевича дошли до Бѣлинскаго уже тогда, когда самъ онъ начиналь стыдиться своихъ

мнѣній о Пілилеръ и своихъ статей съ восхваленіемъ окружающей дъйствительности; въ 1840—1841 гг. Бълинскій окончательно «раскланялся» съ «Егоромъ Оедорычемъ» и отъ нъмецкой «умозрительности» повернуль къ французской «соціалі ности».

Повороть этоть-громадной важности для исторіи общественной мысли той энохи; гмъ заканчивается періодъ вліянія нѣмецкой философіи на русскую мысль первой половины XIX въка. Почти сорокъ лъть преемстренно продолжалось это вліяніе, начиная съ Велланскаго, продолжая Павловымъ и «любомудрами» двадцатыхъ головъ, кончая Станкевичемъ, Бакунинымъ и Бълинскимъ; и интересно, что въ то время, когда люди тридцатыхъ годовъ, въ лицъ Бъленскаго, окончательно разрывали свою связь по существу съ нъмецкой философіей, маститый Велланскій продолжаль чтеніе своихь лекцій съ проповъдью шеллингіа иства. Эти преданья старины глубокой были даяно пройденной ступенью для членовъ кружка Станкевича, которые къ началу сороковыхъ годовъ уже разрывали съ Гегелемъ, и хотя отдъльные последователи шеллингіанства и гегельянства сохранились въ русскомъ обществъ еще на много времени, но они уже не были представителями опредъленныхъ группъ, выразителями общественной мысли той или вной части интеллигенців. Въ этомъ отношенін 1840—1841 г. является рубежомъ, поворотнымъ пунктомъ въ исторін общественной мысли первой половины девятнарцатаго въка. Разрывь Бълинскаго съ нъмецкой философіей, его обращение къ общественнымъ темамъ и къ французскому соціализму, его «западничество» — съ этого началясь сого совые годы. Къ этому же времени относитля и окончательное формирование славянофильства, связь котораго съ «любомудрами» двадпатыхъ годовь мы уже подчеркивали выше; и хотя славанофильство продолжало основываться на почев шеллингіанства, но чемь дальше, темь больше шеллингіанство это вытеснялось въ славянофильстве «православно-словенской» фалософіей Киревскаго и Хомякова. Западничество же Белинскаго и его друзей сохранило, и то отчаста, только формы немецкой философіи, только гетельянскую терминологію, запозняя эти фурмы общественнымъ содержаніемь. Плотой почве совершалось сліяніе распавшаголя кружка Станкевича съ темь кружкомъ Герцена и Огарева, о которомь у насъ была рёчь выше и знакомствомь, съ которымь мы закончимь изученіе умственныхъ и общественныхъ теченій тридцатыхъ годовъ.

IX.

«Умозрительное теченіе», съ которымъ мы знакомицись выше, што въ русской жизни рядомъ съ теченіемъ «политическамъ», при чемь посавднее главенствовало надъ первымъ въ течение первой четверти XIX въка: Велланскій, Павловъ, «любомудры» и прочіе сторонники німецтой «умозрительной философія». были совсёмь ва тёни переда тиничными представителями двидцатыхъ годовъ-декабристами, сторонниками французской раціоналистической и сенсуалистической философіи и тиинчными политическими борцами. Въ тридцатыхъ годахъ положение совершенно изманилось по внутреннимъ и внешяимъ причинамъ. Съ одной стороны, нъмецкая философія мало по-малу просачивалась въ русское общество путемъ намецкой поэзін; въ этомъ отношеній Шиллеръ но своему вліянію на русскую мысль быль могущественные Шеллинга. Къ началу тридцатыхъ годовъ это влінніе идмецкой поэвіп и

философіи было уже настолько зам'єтнымь, что въ журналахь того времени на вст лады комментировалась эта побъда нёмцевъ надъ французами:

> Давно ли въ шелковыхъ чулкахъ И въ нудрѣ щеголя-француза, Съ лорнетомъ, въ лентахъ, кружевахъ Разгуливала наша муза? Но русской барышнѣ пріѣлась старина: Все то же платье, та же лента; И нынѣ—ходить ужъ она Въ плащѣ нѣмецкаго студента...

Завязавшаяся у нась въ двадцатыхъ годахъ борьба французскаго «классицизма» съ нъмецкимъ «романтизмомъ» быстро закончилась пораженіемъ перваго; романтизмъ же, перейдя черезъ различныя фазы развитія, сталь изъ литературнаго философскимъ, — его исторію мы изложили выше. Эти внутреннія причины способствовали перем'єщевію центра тяжести отъ французской «политики» къ нъмецкому «умоэрънію»; но это только съ одной стороны. Съ другой-большую роль въ этомъ перемъщении сыграли причины виъшнія, т. е. событія 1825-6 гг. и начало «моровой полосы» царствованія Николая І: мы уже отм'єтнин выше, что эти внъшнія причины способствовали развитію философскихъ теченій тридцатыхъ годовь и уничтоженію всъхь ростковъ общественности. Не только братья Критскіе ссылались (1827 г.) въ Шлиссельбургъ н Соловки за «дътскій либерализмь», за пустьйшіе разговоры и мальчинескія выходки, но правительство пресл'вдовало даже какое-нибудь невиннъйшее «Общество литературныхъ преній», стремящееся къ «распространенію умственныхъ удовольствій» (1837 г.), на засъданіяхь котораго затрагивались такія опасныя темы, какь, напримъръ: «должно ли предпочитать супружество холостой жизни?, пли: «четыре опыта о временахъ года». Эпоха имколаевскаго режима, вирочемь, уже счинкомь намь извёстна, чтобы нуждаться вы новыхь пллюсграціяхь; достаточно извёстно и то, что режимь этоть не только не искорениль общественных и политическихъ тенденцій вы русскомь о ществе, но привель къ величайшему расцвёт, этихь идей, заставивь перейти къ нимь вы конце концовы даже «романтическихъ философовь» кружка Станкевича.

Кружовь Бригомихь не заслуживаль бы упоминанія, если бы онъ не быль первымь кружкомъ Николаевской элохи и если бы за нимъ не испытали однаковую участь другіе кружки тридцатыхъ годовъ. Вет эти кружки состояли по большей части изъ московской университетской молодежи, изъ той ея части, которая шла всявдь не за «любомудрами», а за декабристами. Въ кружкъ Станкевича мы не встръчаемся съ уноминаніемъ о декабристамъ, а если и встръчаемся, то съ отрицательнымъ, какъ, напримъръ, въ инсьиамъ Бълинскаго; въ этомъ кружкъ философія заглушала полнтику (см., напр., извъстное письмо Бълпаскаго оть 7-го августа 1837 г.). Не то въ кружки Критскихъ: тамъ съ благоговинемъ относились къ памяти декабристовъ и называли ихъ «великими»; даже самый кружокъ возникъ отчасти изъ-за того, что казнь и ссылка декабристовъ «родила негодованіе» въ сердцахъ юныхъ московскихъ студентовъ. То же можно повторить и о позднайшемь кружка Сунгурова, непосредственномъ предшественник кружка Герцена въ Московскомъ упиверситеть; но кружокъ Сунгурова быль уже однимь изъ последнихъ кружковъ, полныхъ верою въ «беранжеровскую застольную революцію», говоря словами Герцена. Дело въ томъ, что разгромъ Польши 1830-31 гг. оказаль сильное вліяніе на политическія возгрівнія русскаго общества: посліднія «конституціонныя плиюзін» радикаловъ и либера-

довъ были надолго убиты. (Интересно отивтить, что именно съ 1830-31 гг., какь мы уже видели, окончательно разрываеть съ былымъ либерализмомъ и Пушкинъ). «Время, следовавшее за усмиреніемъ польскаго возстанія, быстро воснитывало, товорить Герцень: -- мы начали съ внутреннимъ ужасомъ разглядывать, что дёла идуть неладно, теоріи наши становились намъ подозрительны. Дътскій либерализмъ 1826 года тернаъ для насъ, послъ гибели Польши, свою чарующую силу». Приходилось искать другого выхода. Одни углубились въ науку, думая найти въ тщательномъ изучении прошлаго России отвъть на вопросы настоящаго; другіе принялись за изучение ивмецкой философии. Начался періодъ «ученья», по выраженію Бълинскаго. Но Герценъ съ Огаревымъ не пошли ни за первыми, ни за вторыми: «мы пскали, — разсказываеть Герцень, чего-то другого, чего не могли найти ни въ Несторовой лътописи, ни въ трансцендентальномь идеализмъ Шеллинга». Искомсе «что-то» оказалось сенъ-симонизмомъ; кружку Герцена суждено было стать первыми представителеми утопическаго соціализма на русской почвъ.

"Середь этого броженія, — говорить Герцень, — середь догадовь, усилій понять сомньнія, пугавшія нась, попались въ наши руки сень-симонистскія брошоры, ихъ проповьди, ихъ процессь. Они поразили нась... Новый мірь телкался въ дверь, наши души, наши сердца ра творялись ему. Сень-симонизмъ легь въ основу нашихъ убъжденій и неизмінно остался въ существенномь» («Былое и Думы», гл. VII). Такъ начался соціализмъ въ Россіи; начались сразу же и его столкновенія съ тымъ либерализмомь, представителемь котораго въ то время считался Полевой съ своимь «Московскимъ Телеграфомъ». Герценъ разсилавляваеть о своихъ спорахъ съ Полевымъ, считав-

шимъ сенъ-симонизмъ безуміемъ и утопіей, въ то время какъ для кружка Герцена онъ былъ «откровеніемъ». Подобнаго же рода споры происходили, конечно, и съ кружкомъ Станкевича, съ той только разницей, что Станкевичъ и его друзья одинаково отрицали и сенъ-симонизмъ кружка Герцена и либерализмъ Полевого; они стояли на точкъ зрънія совершеннаго отрицанія всякой «политики» и враждовали со всякаго рода «французскими теоріями»: мы уже приводили слова Герцена о томъ, что большой симпатіей между кружками Станкевича Герцена не было, что другь друга считали, съ одной стороны, «сантименталистами и нъмпами», съ другой-«фрондерами и французами». И если Герценъ справедливо видълъ въ Станкевичв и его друзьяхъ наследниковъ былого «любомудрія», то не менъе основательно и кружокъ Ствиневича считаль Герцена съ друзьями последователемъ революціонныхъ идей декабризма: «мы мечтали о томъ, -- разсказываетъ самъ Герценъ, -- какъ начать въ Россіи новый союзъ по образцу декабристовъ». Разница была лишь въ томъ, что революціонныя формы декабризма кружокъ Герцена заполняль соціалистическимь содержаніемь; поэтому исторія русскаго соціализма начинается именно съ кружка Герцена начала тридцатыхъ годовъ. Конечно, соціализмъ этотъ въ кружкъ Герцена былъ крайне расплывчатымъ, неопределеннымъ, колеблющимся, былъ скорже настроеніемъ, чыть возрыніемъ, дыйствоваль скоръе на сердце, чъмъ на умъ, но иначе и быть не могло: новое всеобъемлющее учение почти всегда воздѣйствуеть на неофитовъ скорѣе психологически, логически-этимъ только и объясняется та чты в эпидемическая форма въ которой выражается увлеченіе той или иной теоріей, будь то шеллингіанство,

утопическій соціализмь, дарвинизмь, марксизмь, на-родничество и т. п.

Вь трилцатыхъ годахъ, однако, не была еще подготовлена почва для широкаго распространенія утопическаго соціализма на нивъ русской мысли; къ тому же кружокъ Герцена (въ него кромъ Герцена и Огарева входили еще Вадимъ Пассевъ, Сазоновъ, Сатинъ, Кетчеръ и др.) подобно Сунгуровскому, скоро былъ разсеянъ по всей Россіп (въ 1835 г.). Были, конечно, и вет этого кружка отделные сторонники сенъ-симонизма; интересно отмътить, что подъ вліяніемъ сень-симонизма быль въ то время не кто иной, какъ В. Боткинъ, по его собств-нному поздавишему признанію; но всв подобныя вліянія были и мимолетны и единичны. Послъ разсъянія кружка Герцена и вплоть до зарожденія кружка петрашевцевъ (сторониковъ идей уже не сенъ-симонизма, а фурьеризма) въ Россіи не было группы последователей определенной формы утопического соціализма. Къ неопредъленной «соціальности» пришель, какъ мы знаемь, Бълинскій послѣ своего разрыва съ теоріей разумной дійствительности; въ сороковыхъ годахъ онъ сталъ сторонникомъ «эклектическаго соціализма», если можно такъ выразиться, принимая то общее, что было у Прудона и Фурье, Кабэ и Леру (къ концу сороковыхъ годовъ Бълинскій разорваль съ соціализмомь). На этой «соціальности» сошелся съ Бѣлинскимъ и Герценъ послѣ своего возвращенія изъ пятилътней ссылки.

X.

Это соединеніе и сліяніе кружковь Станкевича и Герцена является тімь рубежомь, которымь заканчивается исторія русской общественной мысли трид-

патыхъ годовъ и начинается ноторія слібдующаї десятниттія; сліяніе это было синтезомъ «умозрительнаго» направленія кружка Станкевича и «политическаго» направленія Герцена и его друзей. Впоследствін Герценъ представляль себъ дъло такъ, что будто бы къ концу тринцатыхъ годовъ и началу сороковыхъ среди русской интеллигенціп было три главныхъ группы или кружка: въ одну группу входили всъ будущіе славянофилы, въ другую--всъ бывшіе члены кружка Станкевича, а третью составляль герценовскій кружокь, причемь кружокь Станкевича неминуемо долженъ быль раздълиться между двумя остальными; такъ и случилось: «Аксаковъ, Самаринъ примкнули къ славянамъ, т.-е. къ Хомякову и Киртевскими; Бълинскій, Бакунинъкъ намъ» («Былое и Думы», гл. XXV). Дъйствительность не совстви укладывается въ эту схему, такъ какъ утверждегіе, что Бълинскій или Бакунинъ примкнули въ кружку Герцена, настолько же невфрно, насколько и противоположное, - что Герценъ примкнуль къ кружку Станкевича. Въ действительности оба эти кружка пошли навитръчу другу и сошлись посредний дороги: насколько Бълинскій измънилъ своему былому осуждению французовъ, политиканства и фрондерства, настолько же и Герценъ отказался отъ своего былого пренебреженія къ наменкой «умозрительности». Вернувшись изъ ссылки, Герценъ вы держаль «отчаянный бой» съ Бълинскимъ, бывшимъ въ то время възногей своего упоенія разумной дійствительностью. «Бой быль неровень съ объявь сторонь, -разсказываеть Герценъ:-почва, оружіе и языкъвсе было разное. Песят безплодных превій мы увидъли, что пришелъ нашъ чередъ серьезно заняться наукой, и сами принялись за Гегеля и нъмецкую филоссфію». И если Бълинскій вскоръ отказался отъ своей теоріи разумной дійствительности, то зато

Герценъ пришелъ къ признанию той сумозрительности», къ которой онъ раньше относился вполнъ отрицательно. Совершилось сліяніе двухь кружковъ: въ гегельянскія формы философіи кружка Станкевича было вложено соціальное и даже соціалистическое содержаніе, исповъдывавшееся кружкомъ Герцена; «умозрѣніе» и «политика» соединплась воедино и соединили былыхъ враговъ въ одну идейную группу, «Въ 1842 году сортировка по сродству давно была сдълана, и нашъ станъ сталь въ боевой порядокъ лицомъ къ лицу съ славянами», -- вспоминаетъ Герценъ. Киръевскіе, Аксаковы, Хомяковъ и др. съ одной стороны; Бълинскій, Герцень, Грановскій, Боткинь и др. - съ другой: воть тъ два стана, борьба которыхъ заполняетъ собою исторію сороковыхъ годовъ.

Кружокъ Веневитинова, кружокъ Станкевича, кружокъ Герцена, славянофилы и западники: исторія этихь кружковь и группь есть исторія русской общественной мысли, начиная съ двадцатыхъ и кончая сороковыми годами. Какъ видимъ, эта эпоха была періодомъ «кружковщины» среди русской интеллигенціи, и на этомъ фактъ надо особенно остановиться для правильнаго освъщенія характера тридцатыхъ годовъ; на это уже давно обратили вниманіе, съ одной стороны, Герценъ, съ другой-Кавелинъ. Герценъ подчеркнулъ неизбъжность распаденія молодежи тридцатыхъ годовъ на отдъльныя группы. «Тридцать лътъ тому назадъ, – писалъ онъ въ 1860 г., - Россія будущаго существовала неключительно между нъсколькими мальчиками, а въ нихъ было наслъдіе общечеловъческой науки... Это начальныя ячейки, зародыши исторіи... Мало-по-малу изъ нихъ составляются группы. Болъе родное собисвоихъ средоточій; группы потомъ рается около отталкиваются другь отъ друга. Это расчленение

развиваясь до конца, т.е. до крайности, вътви опять соединяются» («Былое и Думы», гл. ХХУ). Процесъ этоть завершается къ началу сороковыхъ годовъ, когда изъ разнородныхъ и неустойчивыхъ кружковъ образуются двъ стойкія и вполнѣ опредълившілся группы. Кавелинъ съ своей стороны указываеть на воспитател ное и развивающее значеніе кружковъ той эпохи: кружки эти были школой и маякомъ, указывающимъ направленіе пути цѣлому ряду одинокихъ путниковъ (см. Кавелинъ, Собр. соч., т. Ш, стр. 1115 и сл).

Но все это только внъшняя сторона вопроса; гораздо важнъе обратить вниманіе на внутренній смыслъ существовавія этихъ кружковъ, на ихъ идейное значение не для современниковъ, а для всей исторіи русскаго сознанія, на ту мысль, которая одухотворяла собою всф кружин тридцатыхъ годовъ. Выработка цельнаго міровозаренія, «единой всеобнимающей идеи», принципа, объемлющаго собою весь міръ-воть та внутренняя пружина, которая скрыта и въ шеллингіанствѣ «любомудровъ» и Станкевича, и въ сенъ-симонизмѣ кружка Герцена, и въ гегельянстве Бакунина и Белинскаго. Въ разныхъ формахъ философскаго романтизма и утопическаго соціализма проявплась эта идея въ трид. цатыхъ годахъ, но внутренняя сущность ея была все время одна и та же: шеллингіанская метафизика, соціальный перевороть, принципь любви и самосовершенствованія-все это было поисками за обобщающей идеей, за міровымъ принпицомъ. «Человъчество», «міръ», «вселенная» — воть слова, которыя въ тридцатыхъ годахъ замънили собою лозунги предыдущаго десятилътія: «права человъка», «отечество», «свобода», «конституція»... Соединить интересы отечества съ судьбами человъчества, стремлевіе

къ политическо сохранить широкое и общее міровоззрѣніе и дать въ немъ видное мѣсто отдѣльному единичному человѣку — вотъ требованія, которыя непосредственно появились въ результать общественныхъ и умственныхъ теченій двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Славянофилы, западники, Бѣлинскій, Грановскій, Герценъ дали въ сороковыхъ годахъ различные отвѣты на тѣ запросы, которые явились необходимымъ слѣдствіемъ умственнаго движенія двухъ предыдущихъ десятилѣтій.

Самыми общими чертами обозначили мы въ настоящей главъ исторію развитія русской общественной мысли тридцатыхъ годовъ; теперь намъ предстоитъ подробно разобрать основныя линіи этого развитія. Для этого мы остановимся только на одномъ имени. но въ немъ— вся исторія русской интеллигенціи, вся исторія русской общественной мысли тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Исо имя это—Бѣлинскій.





